СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ О НЕВЕРОЯТНОМ, ПРОСТОМ, УДИВИТЕЛЬНОМ

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Чудо

как предчувствие



ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН ■ ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ ■ ВЕНИАМИН СМЕХОВ ■ АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ ■ МАРИНА СТЕПНОВА ■ ГРИГОРИЙ СЛУЖИТЕЛЬ ■ МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ■ ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ ■ АЛЛА ГОРБУНОВА ■ ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ ■ ЕЛЕНА КОЛИНА ■ ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН ■ АННА МАТВЕЕВА ■ АЛЕКСАНДР ЦЫПКИН ■ ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

Чудо как предчувствие. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном

Евгений Германович Водолазкин, Григорий Михайлович Служитель, Татьяна Никитична Толстая, Майя Александровна Кучерская, Вениамин Борисович Смехов, Шамиль Шаукатович Идиатуллин, Алексей Борисович Сальников, Денис Викторович Драгунский, Павел Валерьевич Басинский, Алла Глебовна Горбунова, Александр Евгеньевич Цыпкин, Валерий Георгиевич Попов, Елена Колина, Анна Александровна Матвеева, Марина Львовна Степнова, Саша В. Николаенко, Вероника Дмитриева

Аннотация
ЧУДО КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном.

(сборник рассказов и эссе)
Евгений Водолазкин
Чудо как необходимость
Григорий Служитель
Священная геометрия случая
Татьяна Толстая
Струзер
Майя Кучерская
Заяц белый, где ты бегал, или Сувенир на память
Вениамин Смехов
Чудотворец
Шамиль Идиатуллин
Только там радость
Алексей Сальников
Свет звезд
Денис Драгунский
Чудо святой Варвары
Павел Басинский
Зависть богов, или Вернись в Сорренто!
Алла Горбунова
Белый Хуан Дай в своем Солярисе
Александр Цыпкин
Верить и не думать. (Из цикла «Министерство Всего Хорошего»)
Валерий Попов

Подарок Деда Мороза. (Рождественский рассказ)
Елена Колина
Мартышон
Анна Матвеева
Чудо по Максу Фасмеру
Марина Степнова
Кот Блед
Об авторах

Аннотация

«Чудо как предчувствие» — сборник рассказов и эссе современных авторов. Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Вениамин Смехов, Алексей Сальников, Марина Степнова, Александр Цыпкин, Григорий Служитель, Майя Кучерская, Павел Басинский, Алла Горбунова, Денис Драгунский, Елена Колина, Шамиль Идиатуллин, Анна Матвеева и Валерий Попов пишут о чудесах, повседневных и рождественских, простых и невероятных, немыслимых, но свершившихся. Ощущение предстоящего праздника, тепла, уюта и света — как в детстве, когда мы все верили в чудо.

Книга иллюстрирована картинами Саши Николаенко.

Чудо

как предчувствие

СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ
О НЕВЕРОЯТНОМ,
ПРОСТОМ, УДИВИТЕЛЬНОМ

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ МОСКВА

ЧУДО КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Современные писатели о невероятном, простом, удивительном
(сборник рассказов и эссе)

Книга издана при поддержке компании «Эн+»
Автор идеи и куратор проекта *Анна Попова*
Составитель *Вероника Дмитриева*
Художественный руководитель проекта *Вера Курочкина*
Дизайн и макет *Андрея Бондаренко*
Иллюстрации *Саши Николаенко*

© Водолазкин Е. Г., Степнова М. Л., Толстая Т. Н. и др., тексты
© Бондаренко А. Л., оформление
© Николаенко С., иллюстрации
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Мы на всех путях дойдем до чуда!
Этот мир — иного мира тень,
Эти думы внушены оттуда,
Эти строки — первая ступень.

валерий брюсов

Мы не понимаем происходящих событий, в том числе чудес, потому что смотрим с изнанки и видим узелки и торчащие нитки, но если зайти с лицевой стороны, мы увидим, что ангел вышивает полный смысла и красоты узор.

из бесед с натальей леонидовной трауберг

Евгений Водолазкин

Чудо как необходимость

Чудо, по Далю, это «всякое явленье, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы». Ни в малейшей степени не оспаривая автора *живаго великорусскаго*, задаешься вопросом: а законы природы — не чудо? Не чудо ли, что *хаос* превращается в *космос?*

Как все неорганизованное, хаос предшествует космосу. Иной порядок логически несостоятелен. Впрочем, и после воцарения космоса хаос не то чтобы совсем ушел. То тут, то там он подмигивает нам из разных интересных точек — будь то Бермудский треугольник или какое-то шотландское озеро. Не сказать, что сводки оттуда отличаются убедительностью. Значимо скорее то, что увлечение масс такого рода сведениями говорит о неистребимом влечении к хаосу, к изнанке бытия.

Мир Божий — это гармония, которая характеризуется вовсе не тем, что «не кончается объятье». Да, наилучшим образом гармония проявляется в вещах красивых вроде небесных светил, радующих нас — каждое в положенное ему время. Но в природе существует и единство несходного.

Даже антагонистического. Пищевая цепочка — несмотря на откровенную жесткость отдельных ее звеньев — это тоже род гармонии. Сюда же можно отнести и сосуществование человеков, которые суть общественные животные.

Здесь ассоциация невольно возвращает нас к пищевой цепочке: что ж, мы, люди, умеем есть друг друга. Очень даже. Следует признать, что цивилизационный слой чрезвычайно тонок — и смывается первой же серьезной волной, будь то революция, война или голод, а под этим слоем — такие бездны… Добрососедские отношения в одночасье сменяются доносами, а вечерние шахматы под липой — безмолвной и сосредоточенной резней. Хаос, иначе говоря, не дремлет, из чего со всей очевидностью следует, что космос — чудо.

Это не значит, что в пределах возникшей гармонии не может быть дальнейших чудес. Иногда отлаженный механизм законов природы начинает сбоить: вошли во взаимодействие не те шестерни, заржавели зубцы — мало ли что случается с механизмами. В таких случаях обращаются к Механику.

Это, так сказать, соображения общего характера. Теперь — о вещах самых что ни на есть

конкретных. Я спрашивал у своих друзей, было ли в их жизни чудо. Почти все ответили, что было. С позволения собеседников рассказываю о двух из них.

Первый случай связан с Александром Аузаном (для своих — просто Сан Санычем) — выдающимся экономистом, чьи идеи развиваются сегодня его многочисленными учениками. В 2000 году Сан Саныч ездил на конференцию в Дурбан (ЮАР). Страна непобедившего апартеида решила продемонстрировать ученым гостям национальный сафари-парк, полный животных, для наших широт нехарактерных.

Сопровождал исследователей гид, разбиравшийся в местной фауне не хуже, чем гости в экономике. Подобно опять-таки экономистам, он не боялся разочаровать свою аудиторию плохим прогнозом и сообщил, что вследствие недавних дождей животные спрятались и увидеть их, скорее всего, не удастся. При этом с каждого гид взял расписку, что машину он не покинет (угроза нападения львов), а также не будет брать с собой оружие. Расписка предполагала, что экскурсанты едут на свой страх и риск и не будут, так сказать, в претензии, если кто-нибудь из представителей местной фауны их съест. После того как бумаги

были подписаны, джип со смельчаками отправился в путь.

Как это нередко случается в сфере экономики, действительность разошлась с прогнозами. Животных экскурсанты встретили. Что больше всего поразило Сан Саныча — так это розовый цвет всех увиденных им зверей. У гостей складывалось впечатление, что они смотрят на мир сквозь розовые очки. Романтический этот цвет объяснялся тем, что обильными дождями размыло местную розовую глину и все животные, как по команде, приобрели цвет окружающей среды. Все — кроме крокодила, не пожелавшего покинуть ряды зеленых.

Часа через три езды по розовой поверхности участники конференции увидели розового слона.

Где баобабы вышли на склон,

Жил на поляне розовый слон.

Смею утверждать, что из всех присутствующих эти строки мог вспомнить только Сан Саныч. Рожденный в СССР, он знал эту песню. Помните? «Боба и слон», фильм нашей юности.

Много веселых было в нем сил,

Скучную обувь он не носил.

Да, не носил. Но остальное с песней, увы, не перекликалось. Розовый слон был очевидным образом разъярен и несся прямо на машину. Джип мгновенно дал задний ход, но пространства для маневра у него не было: за спиной путешественников бурлила разлившаяся от дождей река. В обычное время ее еще можно было как-то преодолеть на джипе, но сейчас об этом не могло быть и речи.

С хладнокровием исследователя Сан Саныч поясняет, что африканские слоны немного меньше индийских. Но вообще-то тоже большие. Даже не будучи зоологом, можно предположить, что в сложившейся ситуации разница между породами не сыграла бы значительной роли.

Пассажиры джипа лихорадочно припоминали текст инструкции. При виде приближающихся зверей в ней предлагалось сразу же закрыть окна. Неизвестно, какие звери имелись там в виду, но совершенно ясно, что не слоны. Сминая джип, как консервную банку, слон едва ли стал бы рассматривать, закрыты ли в нем окна. Все приготовились к худшему.

Оттягивая развязку, скажу о подоплеке события, состоявшей в непростых отношениях между слонами и носорогами, поскольку проблема ком-

муникации — она и в Африке проблема. Короче говоря, есть на районе два главных авторитета: слон и носорог. Не лев, заметьте, не крокодил, а именно слон и носорог.

Эти парни, как апокрифический Китоврас, никогда не сворачивают с дороги. Что в тот памятный день и привело их к столкновению. Слон оказался сильнее и отправил носорога в форменный нокаут. Одержав чистую победу над соперником, слон поднял голову — и увидел джип, который в воинственном угаре принял за еще одного носорога. Если вспомним историю с ветряными мельницами, то поймем, что такое происходит не только в царстве животных. Слоны, как и люди, видят ровно то, что ожидают увидеть. Победив одного носорога, розовый слон был полон решимости победить и другого.

И вот он, момент чуда. Перед мчащимся в ярости слоном на дорогу садятся четыре птицы. Что за птицы, откуда слетели? С неба — больше неоткуда. Пестрые, размером с гуся. Марабу? Трудно сказать. Одним словом, райские птицы. И слон — останавливается. Он завороженно смотрит на птиц и как бы погружается в раздумья.



О чем думают в такие минуты слоны? Этого не знаем ни я, ни Сан Саныч. Может быть, розовый слон жалел розового носорога, который медленно приходил в себя неподалеку на обочине. Джип объехал слона, что называется, на цыпочках. Но

теперь это был другой слон. Совершенно мирный. В свой губастый рот он осторожно вкладывал подобранные хоботом листочки.

Все выдохнули. «А какой некролог пропал! — прокомментировал произошедшее Сан Саныч. — *„Затоптан слоном в Южной Африке“*». Да, в наших условиях такого некролога не дождешься.

Но произошло ведь, по сути, чудо. Которое оказалось гораздо действеннее инструкции по сафари. Вспоминал ли в тот ответственный момент Сан Саныч какие-то молитвы? Не знаю, я у него не спрашивал. Но, думаю, вспоминал.

О втором случае я услышал от Дмитрия Петрова — полиглота и остроумного человека. Однажды на совместном нашем выступлении его спросили, можно ли выучить язык во сне. «Можно, — ответил Петров. — Есть только одна проблема: когда просыпаешься, всё забываешь».

Весной 2013-го, если не ошибаюсь, года Дмитрий читал соотечественникам курс итальянского языка. Локация, как любят сейчас говорить, для итальянского курса оптимальная — город Рим. В Страстную субботу неожиданно возникла идея поехать всей группой в русский храм. Желающих отправиться туда с Дмитрием было семь человек. Можно предположить, что степень готовности

отстоять долгую службу была у всех разной. Как это всегда бывает при коллективных перемещениях, раздались голоса, что трудно будет поймать машину, что в субботний вечер в городе пробки и что в храм, скорее всего, не успеть.

На серьезный лад всех настроило уже то, что к группе из восьми человек неожиданно подъехало два пустых такси. Одновременно. Когда же по пути следования машин пробки стали активно рассасываться, все уже были готовы к чему-то необычному.

Храм Николая Чудотворца, находящийся возле вокзала *Termini,* был переполнен. После крестного хода его покинула очередная группа туристов, появилась возможность войти внутрь. Петров с учениками и вошли. Стоя в притворе, рассматривали церковь.

Внезапно один из священников направился в их сторону. Дмитрий посторонился. Он испытывал особое спокойствие того, кто знает, что ничьего внимания не привлечет и идут точно не к нему. Но священник шел именно к Дмитрию. Этот высокий, статный человек напоминал Моисея, перед которым расступалось море. А потом, конечно, смыкалось. Сказав, что его зовет настоятель, священник повлек Дмитрия через

весь храм к Царским вратам.

Дальше все происходит как во сне. Задав пару полагающихся вопросов, Дмитрия благословляют на службу. Его облачают в стихарь и дают два листа с текстом. Дмитрий не скрывает своей растерянности, но настоятель жестом дает понять, что объяснения оставляет на потом, а сейчас нужно участвовать в службе.

Началось чтение Евангелия от Иоанна. Чтецы выстроились полукругом и по очереди читали текст на разных языках. Дмитрию достались немецкий и английский переводы. Еще несколько человек прочитали стихи Евангелия после Дмитрия.

После службы чтец Дмитрий спросил у настоятеля, что это было. Тот ответил коротко: традиция. Из более подробного ответа следовало, что в Страстную субботу в память о двенадцати апостолах на двенадцати языках читают Евангелие от Иоанна: на греческом, латинском, арамейском, церковнославянском, армянском и других.

В 23:30 настоятель, по его словам, осознаёт, что в этом году на службе некому прочесть Евангелие по-английски и по-немецки. В ту же минуту он начинает усердно молиться о том, чтобы это

упущение было исправлено. Оканчивает моление в 23:50. Окидывает взглядом храм и — видит полиглота Дмитрия Петрова.

«Я тут же батюшку за вами и отправил, — подытожил настоятель. — Мы ведь все вас знаем: весь наш приход учит итальянский по вашему курсу». Он светился спокойствием. Не сомневался, что по его молитве просимое будет дано. Скорее удивился бы, если бы этого не произошло. Это был тот самый тип священника, о котором говорит один из чеховских персонажей: идя во время засухи молиться о дожде, он брал с собой зонтик.

Мне кажется, что вера в чудо — важное условие его сотворения. Видя эту веру, Бог нарушает естественные законы. А еще чудо должно быть необходимым. То есть тем, без чего ничего не получится. Оно может быть явлено в тот момент, когда естественные законы уже бессильны. Только Бог выше таких законов, и явление чуда всякий раз это обстоятельство подтверждает.

Однажды у меня был творческий вечер в Хельсинки. После выступления — принятая в таких случаях автограф-сессия. В условиях заграницы — занятие не из простых. Все дело в именах. Подписывать ведь просят конкретным лицам. Не очень легко это было в европейских странах, но

все познается в сравнении. Что значит цветущая сложность, я понял, подписывая книги в Японии, Китае и Вьетнаме. Даже финны со своим сверхсложным языком не казались мне впоследствии чем-то непреодолимым: имена-то у нас во многом общие.

Тогда, после выступления в Хельсинки, возникла сложность, с финнами не связанная. Ко мне подошла русская дама и попросила подписать книгу женщине, у которой последняя стадия рака. Добавила: у нее ребенок одиннадцати лет. У меня опустились руки. Человек не просто уходит, хотя и *просто* здесь — совсем не просто. Он уходит в страшной боли, потому что никто не позаботится о ребенке так, как мать.

Что я мог написать? Что она выздоровеет? Чтобы не теряла присутствия духа? Я молча сидел с ручкой в руке, а очередь терпеливо ждала. «Напишите что-нибудь», — тихо повторила дама. И вдруг я подумал, что мне, которому нечего сказать, необязательно что-то говорить самому. Можно напомнить слова тех, кто знал, что сказать. И я написал строку из церковного песнопения: «Бог идеже хощет, побеждается естества чин». Подумав, приписал русский перевод: «Там, где захочет Бог, преодолевается естественный

порядок вещей».

Когда мы с женой вышли на улицу, шел дождь. Он смывал слезы, с которыми как-то удалось справиться в зале. Это был тот случай, когда настоятельно требовалось чудо, и — оно могло совершиться. Совершилось же оно с Александром Исаевичем Солженицыным, победившим рак. Можно предположить, что этим исцелением ему предоставлялась возможность написать его великие книги, в том числе, конечно же, «Раковый корпус». Но здесь начинается та область причин и следствий, которая нам, мягко говоря, не вполне доступна.

И в моей жизни было настоящее чудо, оно произошло в самый тяжелый ее момент. Это глубоко личное, и я не буду об этом рассказывать. Просто хочу сказать, что чудеса случаются.

Григорий Служитель

Священная геометрия случая

Нам обещали праздник, мы в него верим. Может быть, мы не дойдем, может быть, его нет. Или дойдем, но нам покажется, что он не тот. Нет, он был, но уехал. Праздник уплыл в другую страну. Но мы его все-таки найдем. Как приятно умирать по дороге на праздник.

римас туминас

Магия — дело рук человеческих, а чудо — это привилегия скучающего божества, которое по своему усмотрению вмешивается в расчерченную раз и навсегда драматургию нашей жизни. Я верю в чудо хотя бы потому, что оно невероятно, немыслимо и невозможно. Ведь чем чудо невыполнимее, тем, наперекор здравому смыслу и земной логике, оно ближе к свершению.

Школа

Недавно, гуляя по городу, я увидел у мусорного контейнера выломанный дверной косяк с отметками роста. Есть свойства и повадки сугубо русские. Например, показать язык зеркалу,

вернувшись за чем-нибудь домой. Присесть помолчать на дорожку. И нигде больше, кажется, не отмечают рост детей на дверных косяках. Я подошел поближе. Сначала появился Антон. До шести лет он, судя по всему, был единственным ребенком. Но вот уже есть Ася, которая растет так быстро, что в восемь обогнала своего старшего брата и дальше зазор между ними только увеличивается. Потом целые три года наблюдения не ведутся. Но вдруг объявляются еще и Петя с Олей. Сразу взрослые и высокие. Почерк совсем другой, похоже, мужской, и засечки выписаны не карандашом, а маркером, крупными печатными буквами. Когда Асе исполняется двенадцать, рядом с ее именем возникает неряшливо перечеркнутое слово *коза*, а потом пропадает Петя и жизнь детей безвестной семьи застывает. И вот я вижу этот косяк на помойке. Наверное, после рождения дочери мама развелась, снова вышла замуж, и новый супруг въехал в ее квартиру со своими детьми. Что-то случилось с Петей, а дальше… ну дальше, должно быть, пришлось продавать квартиру, потому что семье не хватало жилплощади. И новые хозяева затеяли ремонт, выломав из дверного проема чужую реликвию и выставив ее к мусорному контейнеру. Детство

по-настоящему заканчивается тогда, когда родители больше не записывают наш рост на дверных косяках.

У меня не так много вопросов ко вселенной. Если точнее, их всего два. Первый: что все-таки означали буквы «См.», которые учителя ставили вместо оценки под домашкой? И второй: почему из третьего класса мы сразу перепрыгнули в пятый? Куда подевался четвертый класс? В конечном итоге кто-нибудь зачтет нашему поколению тот непрожитый год? Станет ли он премиальной надбавкой к уже отмеренному сроку жизни? Несуществующий четвертый класс как пустота между замерами роста. Впрочем, есть вопросы, на которые и не хочется знать ответы. Так Джон Китс обвинил Ньютона в том, что тот «расплел радугу», научно объяснив ее природу.

Детская жизнь длилась, но никак не была названа. Ведь в детстве вещи не ищут своих имен. Искать или, точнее, знать названия — это и есть главная задача школы. Я не возвращаюсь в своей памяти в школьные годы с любовью, как не возвращаются в места обид и поражений. Школу я вспоминаю, как ежедневный бой. Так вот, все лучшее, что связано у меня с тем долгим периодом, как бы не имеет отношения к самой школе.

Конечно, есть те, кого я вспоминаю с нежностью. Например, Игоря Петровича, учителя русского и литературы. Человек он был прямой, натура, как говорится, цельная. Любой вопросительный знак разгибал в восклицательный. Требовал ясности не только от нас, своих учеников, но и от самого русского языка. Сложносочиненные предложения в наших работах кромсал без жалости. В глазах его застыл строгий именительный падеж, а на лице играл гипертонический багрянец. Он давно умер. Или, скажем, Ольга Валерьевна, учительница географии. Помню, как удивлялся, когда смотрел, как она водит мелом по доске: жил себе какой-нибудь трилобит сотни миллионов лет назад, имел свою небогатую, но все-таки биографию. Питался скудным океаническим пайком и вполне был этим доволен; по-своему любил свою трилобитиху, скорой, но яркой любовью. А потом через круговорот зодиакальных эр, через апокалипсисы цивилизаций он вдруг обнаружил себя в московской средней школе, в кабинете географии, на доске; маленькой известковой точкой в какой-нибудь букве А. Ольга Валерьевна напишет фразу, потом сотрет ее тряпкой. И так, спустя миллионы лет, трилобит внес свою лепту в мое образование. Знал бы он, что его ракушка

обратится со временем в интеллектуальный капитал, он бы крепко задумался и на всю жизнь остался печальным.

Кстати, о капитализме. Мое первое представление о капитале в девяностые — это вкладыши (были такие фантики, которые прилагались к жвачкам). Их коллекционировали, их воровали, за них дрались. Но, главное, на них играли. Игра была элементарной. Усевшись вкруг на полу в рекреации школы, каждый участник протягивал в общую стопку по три-четыре вкладыша картинкой вниз. Потом скидывались на каменьножницы, кто играет первый. Задачей было так хлопнуть ладонью по стопке, чтобы как можно больше вкладышей перевернулись лицевой стороной (именно они и считались выигранными). Стоимость вкладышей сильно варьировалась. Машины из жвачки *Turbo* были самыми дорогими. Ниже в иерархии стояли роботы-трансформеры *Grendizer*, потом шли какие-то советы влюбленным от *Love is*, ну и в основании пирамиды валялись девальвированные Дональдаки и Тип-топы. В нашей школе скоро образовался свой олигархат. Вкладышные активы обменивали на бирже за спортзалом. Или продавали. За сорок крутых вкладышей можно

было купить целый глазированный сырок. По школе ходил слух, что какой-то безумец в балахоне группы *ONYX* меняет пятьсот вкладышей на картриджи для приставки «Денди». Но я этим слухам не верил. Одного из тогдашних нуворишей я недавно увидел на плакате. Стал депутатом, участвует в выборах.

В детстве я думал, что каждое утро на небо восходит новое солнце. Я долго не верил, когда меня убеждали, что это не так, потому что есть знание школы, которое нужно для того, чтобы нас между собой уравнять, и есть твое субъективное знание, которое, несмотря на свою абсурдность, отличает тебя от других. Я вырос в учительской среде. Моя бабушка, преподавательница французского, ни разу за всю жизнь не покинув пределы СССР, знала Париж лучше многих парижан. По открыткам, романам, снам. Она могла водить по нему экскурсии с закрытыми глазами. Ее город — воображаемый, не эмпирический, но лично для меня еще более живой, чем «настоящий» Париж. О взаимосвязи знания и воображения Борхес пишет в эссе «Сон Колриджа»:

> «Монгольский император Кубла-хан в XIII веке видит во сне дворец и затем

строит его согласно своему видению; в XVIII веке английский поэт Колридж, который не мог знать, что это сооружение порождено сном, видит во сне поэму об этом дворце. Если с этой симметричностью, воздействующей на души спящих людей и охватывающей континенты и века, сопоставить всяческие вознесения, воскресения и явления, описанные в священных книгах, то последние, на мой взгляд, ничего — или очень немного — стоят».

Чем прекрасно прошлое: память и воображение сплетены в канат, в котором одно от другого уже неотделимо. Вообще мне кажется, *было или не было* гораздо интереснее, чем *быть или не быть*. Вот, к примеру, вспоминаю один вечер из детства. Мороз, горка у школы с темнеющей ледяной дорожкой. На мне комбинезон, ненавистный вязаный шлем, из рукавов торчат две варежки на резинках. Подо мной санки, за мной — мама, готовая с короткого разбега запустить меня с горки вниз. Мне это развлечение безразлично, но если мама думает иначе — хорошо, молча сделаю вид, что люблю ездить на санках

с горки. Помню, санки в моем детстве делились на две фракции: с продольными планками и с поперечными. Лихачи отвинчивали металлические спинки. Говорили, что спинка значительно ухудшает аэродинамические характеристики болида. Тихоходы, наоборот, подкладывали к спинке подушку, вручали поводья родителям, и те тягали обоз на горку, тащили его до подъезда. Ленивые, сонные души. Помню, какой скрежет поднимался, когда санки съезжали с заснеженной дороги на асфальт, под которым пролегала теплотрасса, а потом опять бесшумно катили по снегу. У моих санок были продольные планки желто-синего цвета. Спинку я не откручивал — ее украли, пока санки на привязи ожидали моего возвращения из булочной. На них я садился в позе Русалочки из порта в Копенгагене. Спускался я быстро и умел неплохо маневрировать. Все-таки моих санок уже давно нет. Где-то они сейчас? На какой свалке истлели? Какие костры истопили?

Мои самые важные воспоминания о школе не имеют отношения к учебе. Главное, что происходило со мной в эти годы, как бы вынесено за тетрадные поля (которые придумали в Средневековье, чтобы крысы, объедая бумагу, не задевали текст). К слову, кто-то подсчитал, что средневеко-

вый крестьянин за всю жизнь получал столько информации, сколько мы сейчас получаем за один день. Зачем она нам нужна? Иногда о человеке больше говорят отметки его роста на старом дверном косяке. Так вот одно из моих главных воспоминаний о школе — влюбленность в Олю Войкову, которая поощряла, но не разделяла моего чувства. Однажды она отмечала в школе свой ДР. Я помогал ей развешивать по стенам класса гирлянды, надувал шарики и связывал их ниткой, разносил мандарины по партам, расставленным по периметру класса. Когда мы закончили, Оля сказала, что ее сердце все равно будет принадлежать Косте Арустамяну. Потом она съела конфету, свернула пустой фантик и положила его обратно в конфетницу. Она сказала, что теперь в этом фантике вместо конфеты живет святой дух. И я до сих пор в это верю. Недавно встретил Олю на улице. У нее все очень хорошо. Они живут с Костей, и у них трое детей.

Театр

Выхожу на улицу из служебки после спектакля «Мастер и Маргарита» (я в нем играл Коровьева). Налетает с визгами стая девочек-подростков. Окружили меня, затихли, переводя дыхание,

и снова загалдели: «Ай, не он, не он. Не Ваня. Где Ваня Янковский? Где наш Ваня? Отвечайте немедленно, где Иван!»

Смотрю, мужик какой-то неподалеку в машину садится, указываю в его сторону:

— Так вот же он, Ваня!

Стая закричала «а-а-а-а-а» и полетела на мужика. Только одна девочка как-то замешкалась, вернулась ко мне и спросила застенчиво:

— А вы кого играли в пьесе?

— Я? Да так. Никого… Я — автор.

Мимо паническими зигзагами, с лютым бибиканьем проехало авто, облепленное подростками.

— А, — разочарованно потупилась девочка, — молодцы, хорошо всё придумали. Распишетесь?

— Без проблем.

Она протянула программку и розовый фломастер. Никогда не видел автографа Булгакова, но у меня получилось что-то интенсивно-экспрессивное, с тройным тулупом, каскадом, изящным курбетом и, конечно, двойным «фф» на конце.

«Главное — величие замысла», — любила повторять Анна Ахматова, за ней Иосиф Бродский, а вслед за ними простой пехотинец русского репертуарного театра Сергей Аброскин. Был у нас в

театре «СТИ» спектакль «Мариенбад» по повести Шолом-Алейхема. На репетициях придумали, что каждый актер выберет себе какой-нибудь напиток, наиболее подходящий его персонажу, и будет пить его на протяжении всего действия. В общем, кто-то прикладывался к стеклянной фляжке с коньяком, кто-то потягивал из огромной кружки пиво, а Сергей Аброскин, исполнитель роли неврастеничного портного Бройхштула, пил молоко. Пил ярко, пил талантливо, но из глиняного стакана, так что ни один зритель оценить его задумку не мог. Шли месяцы, годы, и однажды после очередного спектакля актерский коллектив, посовещавшись, отправил меня к Сергею с вопросом. Я долго переминался с ноги на ногу, наконец собрался с духом и выпалил: «Сергей, возможно, стоит все-таки попробовать наливать молоко во что-нибудь прозрачное?» И робко прибавил: «Нет?» Сергей посмотрел в окно, глубоко затянулся и ответил: «Главное — величие замысла!» — затем многозначительно поднял вверх указательный палец и удалился прочь.

На днях купил пиво и, позабыв страх божий, впервые, кажется, в этом тысячелетии решил выпить его, не прячась, среди белого дня, прямо на улице. Сел в сквере у Чернышевского, помолчал,

улыбнулся солнышку и открыл бутылку.

В автозаке было светло и прохладно. Поэтично ложилась тень от решетки на пол, и что-то там еще красиво переливалось. Я из задержанных был первый, поэтому пришлось еще час ждать, пока автозак заполнится и мы, запев хором «славное море, священный Байкал», тронемся в отделение. Так вот, к чему я. Выяснилось, что из шестнадцати моих попутчиков *четверо*, включая меня, оказались актерами, а товарищ старший лейтенант уже в отделении признался, что после школы пробовал поступить в театральный в Нижнем. То есть если представить, что все население России — это бывшие, настоящие или будущие задержанные, то получается, что каждый четвертый среди нас — артист драмы и кино. Морали не будет.

Когда-то очень давно, кажется в МХТ, я смотрел моноспектакль канадского режиссера и актера Робера Лепажа «Обратная сторона Луны». Там был эпизод, в котором главный герой заходит в бар, напивается и за стойкой рассказывает бармену про первого человека, вышедшего в открытый космос, — то есть Алексея Леонова. Он объясняет ему разницу между американским астронавтом и русским космонавтом: «Понимаешь, астро-

навт ищет звезды, а космонавт гармонию». Он выпивает еще и еще, и дальше сцена, построенная, в общем-то, на очень простой оптической иллюзии, но ни до, ни после я не видел, чтобы театральный ход мог настолько сильно воздействовать на все органы чувств. То ли это был сон, то ли мечта о полете, то ли и то, и то… На сцене под небольшим углом было поставлено зеркало. Лепаж ложился на спину перед этим зеркалом вместе со стулом так, что в отражении мы видели как бы совершенно обычно сидящего человека. Он вел рукой вправо, влево. Поворачивал голову. Чуть склонялся в одну строну, в другую. И вдруг в какой-то момент он делает медленный кувырок назад, но мы, уже позабывшие, что наблюдаем за отражением, видим, как человек, наплевав на все законы физики, взлетает со стула ввысь и зависает в воздухе. Это было невероятно. Я помню, что тогда я впервые услышал, что это такое, когда весь потрясенный зал одновременно вздыхает. И так продолжалось минут пять или семь (огромное время по сценическим меркам). Это был танец свободного человека, который отменяет гравитацию — то есть груз необходимости. В конце он так же медленно «опустился» на стул. И это было одним из моих главных театральных

впечатлений. Да, чуть не забыл. В зале в тот вечер оказался Алексей Леонов. В конце спектакля он подошел к сцене и пожал Лепажу руку. Это ли не театральное чудо?



Футбол

В 2016 году чемпионат Англии по футболу завершился сенсацией — победителем впервые в своей истории стал скромный клуб «Лестер Сити» из одноименного города. Чтобы было понятно: согласно ставкам в букмекерских конторах перед началом сезона, коэффициент на победу «Лестера» в английской премьер-лиге равнялся ничтожным 5000. Выше ставки были на то, что Элвис Пресли еще жив, а Леди Гага станет президентом США. Так вот, в 2015 году тайский владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха уволил старого тренера и назначил на его должность Клаудио Раньери, не самого титулованного, но, что называется, крепкого профессионала. Задача перед клубом стояла одна — не вылететь в низший дивизион. В целом назначение Раньери не вызвало особого энтузиазма ни среди болельщиков, ни среди специалистов. Не совсем было ясно, с чего вдруг немолодой, неизвестный в Англии тренер удержит на плаву бесперспективный «Лестер». Тем удивительнее было наблюдать сезон, в котором Лисы (это прозвище «Лестера»)

ни с того ни сего начали громить всех подряд. От грандов вроде «Челси» и «Манчестер Юнайтед» до таких же скромных, как он сам, клубов-середняков: «Норвич» или «Сандерленд». Никаких звездных игроков в трансферное окно «Лестер» не купил и купить не мог. Клуб на три четверти состоял из футболистов, с которыми продлевали контракты из года в год. Но. К примеру, средний по всем показателям нападающий Джейми Варди (в 28 лет!) по окончании золотого сезона превратился в главное открытие не только АПЛ, но и всего мирового футбола. Феноменальное достижение «Лестера» нельзя объяснить ни простым везением, ни ослабленностью основных претендентов на титул. К тому же «Лестер Сити» оформил чемпионство досрочно, и результаты чужих встреч принципиального значения для него уже не имели.

Очевидно, что логикой смертных, нашей приземленной арифметикой объяснить триумф «Лестера» невозможно. Остается один вывод: в чемпионстве «Лестера» свою роль сыграли потусторонние силы. Точнее, одна сила. Еще точнее — король Англии Ричард III.

Тут сразу надо сказать, что мало к кому из заметных исторических личностей память потомков

оказалась столько пристрастна. Да, Ричард III не отличался манерами и мягким нравом, но все-таки от шекспировского образа исчадия ада он был далек. Или лучше так: реальный Ричард мало чем выделялся на фоне своих современников. Козни и интриги, в которых он, конечно, знал толк, вполне вписывались в общий стиль эпохи. Он действовал строго «по моде» тогдашнего времени и был не лучше и не хуже остальных приближенных к власти. А время было в королевстве трудное. В результате Столетней войны Англия была вынуждена навсегда отказаться от своих владений на севере Франции. Казна опустела. Страна увязла в гражданской войне. Собственно, это и была Война Алой и Белой розы. В 1483 году умирает король Эдуард IV. Формально преемником должен стать его сын, но, судя по всему, он был рожден не одной из царствующих королев, а одной из многочисленных любовниц своего отца. Поэтому Ричард III, который приходился королю братом, посчитал, что в очереди на престол он автоматически обходит всех конкурентов и становится первым. То есть не совсем автоматически. Все-таки некоторым особо опасным претендентам Ричард III помог сойти с дистанции. Сейчас разобраться, кто на самом деле имел

больше прав на английскую корону, почти невозможно. Точно известно одно. Ричард царствовал недолго и очень скоро вывел из терпения даже своих сторонников. 1 августа 1485 года состоялась битва при Босворте, в предместье (внимание!) города Лестера. Войско Ричарда III потерпело сокрушительное поражение. Сам король был убит, а на трон взошел Генрих VII, родоначальник новой королевской династии Тюдоров. У Тюдоров права на престол были весьма призрачны, так что посмертное очернение Ричарда III имеет вполне простое и внятное объяснение: моральный и физический урод Ричард III Плантагенет получил по делам своим, а благородные Тюдоры вернули королевству мир и процветание. Тело убитого Ричарда раздели и выставили на площади Лестера. Потом без монарших почестей, без тризны и панихиды осквернённый труп бросили в могилу у церкви неподалеку. Вот. И тут начинается самое интересное.

Во время реформации XVII века церковь сносят, и останки короля считаются навсегда утерянными. Впрочем, остаются письменные свидетельства, что где-то в районе алтаря Ричард и был захоронен. Со временем на месте церкви разбивают сад, затем строят викторианский дом,

а уже в XX веке организуют автостоянку. В 2012 году в центре Лестера начинаются археологические раскопки. Через 6 часов 35 минут ученым удается обнаружить труп со связанными руками и признаками сильного сколиоза. На теле скелета насчитывают до десяти колото-резаных ран. Чтобы избавиться от последних сомнений, ищут по всему миру и находят оставшихся потомков короля; проводят генетическую экспертизу. Их митохондриальные гаплогруппы полностью совпадают.

И вот 26 марта 2015 года тело Ричарда III Плантагенета было торжественно перезахоронено в кафедральном соборе города Лестера. На церемонии присутствовал Бенедикт Камбербэтч, который внезапно тоже оказался дальним родственником короля. Он прочитал по случаю стихотворение Кэрол Энн Даффи «Ричард». Последний король Англии, убитый на поле боя, спустя пять веков наконец упокоился с миром, а через год футбольный клуб «Лестер Сити» впервые в своей истории оформил невероятное чемпионство. Назовем это последней *чудесной* милостью короля.

Но есть еще и другое чудо, свободное, как пел Стинг, от «священной геометрии случая», от

тайных знаний алхимии и триософии, от ошеломляющих достижений науки.

Моей дочери полтора года, а в это же время два года назад мы с женой завели приложение для будущих родителей. Оно отсчитывало недели и дни до родов, сообщало, какой новый орган у ребенка формируется, какие части тела вырисовываются. Все это было видно на трехмерной модели. В мутной взвеси плавает огромный зародыш. Две черные ягоды вместо глаз. Гениальный выпуклый лоб, как у дельфина. Короткие, как у муми-троллей, ручки. Сквозь матовые желатиновые стенки просвечивают тонкие веточки артерий, дальше — темное полесье будущих ребер. Когда фигурку приближаешь, то становится слышен частый настырный бой сердца. А еще через несколько месяцев на скрининге уже можно было разглядеть ее лицо — изображение было каким-то жидким, изменчивым, и казалось, что кто-то гадает на горячем воске. Из этой подвижной магмы выявлялась то шея, то губы, глаза, подбородок. И моя будущая дочь словно подпирала рукой щечку, как скучающий школьник в ожидании перемены. И вот она появилась на свет, заняла свое собственное, отведенное только для нее место. Она осваивает мир, которому,

надеюсь, научится доверять, вопреки горю и страданиям, которыми он переполнен. Потому что зла хоть и больше, но оно слабее добра. И эту истину принять и усвоить очень тяжело. И мне кажется, что это меня теперь заново вынашивают, что это я дозреваю, довырисовываюсь, довеществляюсь, как будто это во мне недоразвился какой-то очень важный орган, без которого, как оказалось, жизнь не была полноценной. И я уже не знаю, как я без этого органа жил. И жил ли?

Татьяна Толстая

Струзер

Что ты вынесешь из горящего дома? Что ты вывезешь из ледяного, осажденного города?

30 ноября 1941 года. Ленинград. Еще не вечер, но на улице — темно, и во всех окнах затемнения, и фонари этой осенью, конечно, не горят. И транспорт не ходит.

Два пожилых человека вышли из дома 73/75 на Кировском (некогда Каменноостровском) проспекте, пересекли неширокий двор-курдонёр, оглянулись в последний раз на еле различимые при свете звезд окна своей квартиры — суждено ли воротиться? — завернули направо за угол и побрели на север.

Он высокого роста, в тяжелой шубе, с небольшим чемоданчиком — большой взять не разрешили, ведь самолет крошечный; она маленькая, худенькая, ему по плечо. Она пытается отобрать у него чемоданчик:

— Миша, ну дай я понесу… Ну нельзя тебе…

Но он только качает головой:

— Все хорошо, Танюша. Эта ноша не тянет.

Стемнело, и с Невы дует сырым морозом. Пройти вдоль Лопухинского сада, переименованного

новыми властями в садик Дзержинского. Взойти на мост через Малую Невку. Дальше будет Каменный остров, и там уже нет асфальта, а торцовые мостовые размыло наводнением еще в 24-м году, и теперь там только булыжник и скованная морозом вздыбленная земля — колдобины и рытвины. Были кое-где деревянные настилы, но ленинградцы растащили их на растопку. Топят и заборами, и книгами. Горит и синий Флобер с золотым тиснением, и маленький зеленый Мериме.

Это мои дедушка и бабушка Лозинские. И им надо пройти по темному и бесснежному городу, по промерзлой земле, по рытвинам и кочкам шесть километров — до Комендантского аэродрома, до самолета, который вывезет их из блокадного города на Большую землю.

Они еще не старые: ему 55, она годом младше его. Почему они идут с таким трудом? Дойдут ли?

Михаил Леонидович Лозинский, мой дедушка по матери, перевел «Божественную комедию» Данте: в 1936 году «Ад», в 1939–40-м — «Чистилище» и за месяц до войны закончил писать примечания к нему, составившие целый том. А потом оставалось перевести «Рай» — и тут началась война.

Это были несравненные, никем не превзойденные переводы. Академик И. И. Толстой писал Лозинскому: «Чтобы передать текст Данте так, как передали его Вы, надо не только знать в совершенстве итальянский язык, ему современный, и историческую обстановку, но надо, чтобы в человеке звучали струны самой высокой и чистой, подлинной поэзии».

Сам Лозинский позже говорил в интервью: «Я отдал семь лет жизни на то, чтобы сильно почтить память Данте, и счастлив, что довел дело до конца. Три части, сто песней, 14 233 стиха — это немало… Чем глубже я вникал в „Божественную комедию“, тем больше преклонялся перед ее величием. В мировой литературе она высится как горный кряж, ничем не заслоненный».

Дедушка был тяжело болен. Помимо эмфиземы легких, у него была акромегалия — заболевание гипофиза, при котором увеличиваются в размерах кисти рук, стопы ног и черты лица оплывают, словно бы скованные маской. И каждый день очень сильно болит голова. Спасался он от головной боли цитрамоном, но я не знаю, можно ли было раздобыть цитрамон в блокадном Ленинграде в ноябре 41-го года?

А еда, где им было раздобыть еду?.. Только что,

20 ноября, была установлена самая минимальная за всю блокаду норма — смертельная норма — 125 грамм. Рабочим полагалось, так уж и быть, 250 грамм хлеба, всем остальным — 125.

Лозинские были «всеми остальными». Им еще повезло: Михаил Леонидович был еще и членом Союза писателей, так что он, скорее всего, получал какой-то дополнительный паек или был прикреплен к какой-то столовой. Потому что на 125 грамм хлеба выжить было нельзя. К февралю умерла половина города, миллион человек.

Я смотрю туда, в тот день, в тот темный день, случившийся за десять лет до моего рождения, с такой тоской и тревогой, словно он не миновал, а еще только предстоит. Я должна знать, как все это было, и с волнением и благодарностью ищу и нахожу в интернете почти все, что мне нужно: и температуру — ноль градусов, страшный ленинградский ноль, погода, при которой происходит большинство обморожений, как нас учили на уроках гражданской обороны, и количество осадков — нет осадков. Есть звонкая промерзшая земля. А вот 20 ноября, в день, когда сократили норму выдачи хлеба, было 11 градусов мороза. А накануне того — минус 14, и все это без снега. Наверно, Нева замерзла. Наступление темноты

— 16:48. Я думаю, они вышли засветло, но пока шли, стемнело.

Зато луна в тот день хоть как-то освещала путь, было три четверти от полной луны. А небо затянуто тучами? Не пишут.

Перейти Малую Невку, Каменный остров, Большую Невку и дальше, дальше. Черную речку перейти, по правую руку будет место дуэли Пушкина, и нельзя не обернуться на него, нельзя не постоять: в темноте памятник едва различим, но мы другими глазами смотрим, так что мы всё видим. Постояли, передохнули — идем дальше.

Им разрешили взять с собой только самое необходимое. А что есть самое необходимое для переводчика Данте?

Исследователи архива Лозинского пишут: «Его архив составлял десятки папок, содержащих разнообразные изыскания, рефераты, конспекты, наблюдения, списки, чертежи, выписки, фотокопии и проч… Сохранились папки, позволяющие составить представление о фундаментальной предварительной работе, проделанной переводчиком. Среди них, в частности, „Библиография Данте“ (картотека с „дантеаной“ и переписка с учеными), „Книги о Данте“ (конспекты десятков монографий о поэте и его эпохе, а также труды по

истории, философии и искусствознанию на пяти языках), „Материалы к `Божественной комедии`“ (реальный и лингвистический комментарии), „Просодия Данте“ (стиховые переносы, классификация рифм и т. п.), „Рифмы“ (списки рифмующих окончаний по всем песням), „Слова“ (лексические возможности русского языка)».

Весь день накануне бабушка Татьяна Борисовна кроила и пришивала к дедушкиной шубе внутренние холщовые карманы. Туда вошли словари староитальянского языка, справочники, конспекты, комментарии, писчая бумага, копирка. Может быть, часть картотеки. В чемоданчик он уложил «Рай», оригинал. А теплые вещи — ну, наверно, они надели их на себя. В квартире не было ни воды, ни огня.

Когда дедушка был мальчишкой, они с братом Гришей сочиняли какие-то стишки, от которых в памяти остались строчки:

…И отправился в дорогу,
То одную, то другую
Пред собою ставя ногу.


Толстой

Он рассказал бабушке — вот так и мы с тобой идем, — и они оба посмеялись. Когда смеешься, легче.

Место дуэли Пушкина — это примерно полпути, но дальше дома кончаются, ориентиров нет, и они идут вслепую, наугад, голодные, но в чемоданчике у него «Рай», а рядом верная жена — идут как-то, волочат ноги.

Михаил Леонович Гаспаров называет перевод «Божественной комедии» «изумительным», «прочным и точным», «образцовым», «незыблемым и монументальным». То же можно сказать и про самих Лозинских: прочные, точные, незыблемые и монументальные.

Но настал тот миг, который и должен был настать: они заблудились. Холодное пустое поле, посвист ветра, ни огонька. Ни одной живой души кругом. И силы кончились. И они решили, что тут они и умрут, потому что идти некуда. Дедушка поставил чемоданчик с «Раем» на промерзлую землю, они сели на чемоданчик в обнимку, взялись за руки и стали ждать последнего сна.

И конечно, начальные строки «Ада» звенели в их ушах:

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!

Вдруг из темноты выскочила темная фигура. Человек (если это был человек) споткнулся о них. Вгляделся в лица:

— Михаил Леонидович, это вы? Татьяна Борисовна! Это Струзер! Не помните меня?

— Какой струзер?..

— Фамилия моя Струзер! Я был у вас в гостях, мы были студентами, мы шумели, а вы, Татьяна Борисовна, попросили не шуметь, потому что Михаил Леонидович работает! А вы вышли к нам, Михаил Леонидович, и поклонились! Я узнал вас! Вы на самолет? Самолеты замаскированы, вы их так не увидите. Пойдемте, отведу вас! Я тут работаю!

И Струзер подхватил чемоданчик с «Раем» — «Тяжелый! Что там у вас? Кирпичи?» — и повлек дедушку с бабушкой к невидимым, укрытым от глаз самолетам.

…Потом была Казань, потом Елабуга, где тоже было голодно, но не так, как в Ленинграде, и даже

была картошка, подумать только, а маленький внук, полуторагодовалый Миша, названный так в честь деда, не умел еще ходить, но выполз из дома, нашел грядку с луком, выкопал луковицу и ел; плакал, но ел, словно знал, что это хорошо и полезно.

И дедушка перевел «Рай», и написал к нему том комментариев, и вернулся в свою квартиру в доме 73/75, в свой неразворованный кабинет, к своим несожженным книгам, и кончилась война, и он получил за перевод «Божественной комедии» Сталинскую премию I степени и увидел еще внуков — и даже я родилась, — и столько в большой нашей семье было случаев неожиданной помощи ниоткуда, неожиданного чудесного спасения, и тогда все смеялись и говорили: ну, понятно, обычный струзер!

Они жили долго и умерли в один день. Они не узнали о смерти друг друга. Когда бабушке сказали, что Михаил Леонидович не переживет этой ночи, когда уже бежали к нему с бесполезными кислородными подушками, она, не в силах услышать страшную весть, ушла к себе и приняла огромную дозу снотворного. В суматохе и беготне никто этого не заметил. Так она не узнала, что он умер в ту же ночь, а он не узнал, что умерла она.

Друг для друга они остались навсегда живы.

Смерти нет, есть дорога, ведущая сквозь тьму и тернии к новому рассвету, и в конце ее — невидимый для земных глаз черный челн, корабль с багряными парусами, белый ялик, резная ладья или хорошо замаскированный самолет, — каждый что хочет, то и увидит, и идти по этой дороге легко, и вы не собьетесь с пути, мои любимые: там уже ждут вас и Данте, и Вергилий, и Пушкин, и брат Гриша, и все, все, кто ушел туда раньше вас. И светлый струзер с белоснежными крыльями перекинет для вас золотые сходни с берега на лодку и передаст вам прозрачный чемоданчик с сияющим «Раем» внутри:

— Сказали: это для вас.

Майя Кучерская

Заяц белый, где ты бегал, или Сувенир на память

1

Вьюжную ночь с 28 на 29 декабря Петр Васильевич Курочкин, сорокадвухлетний менеджер крупного столичного банка, проспал как убитый. Открыв глаза, Петя обнаружил, что лежит на боку, по-детски подложив ладонь под щеку, в голове — приятная пустота, а в теле легкость. Еще не рассвело, но ночник-звездочка уже горел, и было в его теплом сине-голубом свете что-то таинственное, манящее. Ночник включила Катька, значит, она уже встала.

Странно, давно Петя не просыпался с ощущением такого острого, но совершенно беспричинного счастья. Вчера он гулял на корпоративе, выиграл в беспроигрышной лотерее отличный набор для туриста, спел в караоке любимую «Группу крови», потом даже немного потанцевал, вернулся поздно. Но что он такое пил? Да как обычно — виски с колой…

Петя потянул носом — что-то там на кухне уже жарилось, сладко зевнул, хрустнул косточками и

почувствовал на голове непонятный зуд. Зудело темя. Он попробовал почесать… не может быть. Там, где последние лет восемь, к некоторому его огорчению, проступал голый кружок лысины, сейчас обнаружились короткие и мягкие волосы. Петя растерянно провел ладонью по загадочному меху и понял, что мех мохнатится и дальше, взмывает над головой и крепится к какому-то, что ли, хрящу… а рядом, рядом растет еще один длинный хрящ, тоже меховой. Петя осторожно нажал сзади на тот, что рос правее, — хрящ оказался гибким, легко согнулся, и тут Петя вскрикнул: перед ним опустилось заячье ухо, точнее, аккуратный овальный кончик — розовый и пушистый.

Счастье как рукой сняло. Он ощутил неприятную кислоту во рту и холодок в районе солнечного сплетения. Какой дурацкий все-таки сон! Петя перевернулся на спину, в этом положении ему всегда особенно крепко спалось, вытянулся, но понял: что-то снова ему мешает; на этот раз там, где кончается спина, появилось какое-то инородное щекотное тело.

Он сунул руку вниз, проскользнул под резинку — сзади, аккурат на копчике торчал прежде никогда здесь не замечавшийся хрящик, покрытый все тем же знакомым плотным и мягким

мехом. Петя зажмурился. Полежал. Сердце гулко стучало, сна не осталось ни в одном глазу. И тоскливое подозрение — нет, никакой это не сон, а невероятная, кошмарная, но самая что ни на есть реальность — забило в грудину злым клювом. Он вскочил, бросился в ванную — изучить природу неясных явлений в зеркале, но тут же столкнулся с Катькой.

Катька шла его будить. В легком халатике, всегда желанная, жена поднималась пораньше, чтобы приготовить завтрак на всю семью. Увидев мужа, Катька застыла.

— Ми-илый.

И тут же дикий и невероятно обидный хохот согнул его благоверную пополам.

— Это, что ли, после вчерашнего корпоратива? — только и сумела она выдавить из себя. — А что? Тебе идет. Ты просто зайка…

Новый приступ хохота не дал ей закончить.

Петя побагровел и двинулся в ванную, но дверь была заперта. Там, конечно, заседал Лёнька, их сын, второклашка.

— Сколько раз тебе говорил — пользуйся своим… — проскрежетал Петя в закрытую дверь.

У детей имелся свой, отдельный туалет, возле детской.

— Да его внезапно на кухне что-то прихватило, — попыталась объяснить сквозь смех Катька.

— Что здесь смешного? — уже почти проорал Петя и бросился к зеркалу в коридоре.

Но тут дверь ванной распахнулась, и в коридор вышел уже умытый, хотя еще и одетый в пижаму сын, он скользнул по папе взглядом и деловито уточнил:

— К Лизке в садик сегодня, на утренник?

Спокойная реакция сына, как ни странно, приободрила Петю, он дошел наконец до коридорного зеркала.

Самые ужасные опасения, которые он не смел пока сформулировать, сейчас же подтвердились.

На него смотрел голый, плотный, покрытый темным, уже седеющим волосом мужчина в красных боксерах, с небольшим круглым брюшком и сердитыми глазами. А из привычной и такой знакомой лысины росли аккуратные заячьи уши. Белые и мохнатые. Выглядели они не как крепкие уши матерого зайца, а как детские. Такие должны были бы украшать какого-нибудь совсем юного зайца, максимум подростка, но почему-то украшали его, руководителя отдела по работе с партнерами, человека вполне солидного, уважаемого, с которым никакой такой вот хери

случиться никак не могло! По определению. Петя подергал сначала один отросток, потом другой, потянул — ушки и не подумали поддаться. Дернул посильнее, с тем же успехом он мог попытаться выдернуть свои настоящие уши. Сомнений не было: самозванцы росли прямо из головы и были его собственными вторыми ушами, помимо обычных человеческих, которые лопоухо, как-то очень по-родственному, но словно немного потерянно торчали на положенном месте с самого дня рождения.

Петя снова, уже без всякой надежды, сунул пальцы к копчику — меховой шарик тоже торчал на месте.

— Кать, ну что ты ржешь, — обреченно прошелестел он. — Как я теперь…

«Пойду на работу», хотел он сказать. Но не смог. Жена явно не понимала масштаба бедствия, а главное, что оно — реальное. Что это не маскарад и не шутки.

Катя тихо подошла к нему и тронула его сзади, там, где трусы неприятно вздымались, оттянула резинку.

— Ой! — произнесла Катька. — Хвостик.

И ее накрыл новый приступ смеха.

— Папа теперь зайчик! — воскликнул Лёнька,

до сих пор, оказывается, тихо стоявший здесь же.

Петя выпучил глаза и покраснел.

— Вон! — закричал он. — Быстро в свою комнату одеваться. Опоздаешь в школу!

Тем временем Катя, наконец отсмеявшись, осторожно ощупывала его уши, легонечко тянула то одно, то другое, только теперь она начала догадываться, что мужу ее в самом деле не до смеха и ушки у него выросли не декоративные.

— Ты мой бедный. Так не больно? — спрашивала она жалостливо. И вдруг дернула посильней.

— Больно! — заорал Петя. — Ты совсем? Скорую вызывай по страховке!

— Скорую?

— Да! Буду резать.

— А если… снова отрастут? На старом месте? И хвост же еще… Может, лучше пока не трогать?

— Проклятье, — только и простонал он в ответ. И добавил совсем уже тихо: — Плакали наши Альпы.

Лететь на курорт они должны были уже завтра, там и собирались встретить Новый год.

Но Катька только легкомысленно махнула рукой: «Главное, чтобы ты был здоров!»

Из дальнего конца коридора послышалось цоканье — проснулся до сих пор дремавший на

своем одеяльце Дик. Петя подобрал его много лет назад слепым щенком у речки на даче. Дик сделал несколько шагов, принюхался, внимательно посмотрел на хозяина и, словно бы вспомнив о родстве с троюродной легавой по дедушкиной линии, сделал стойку и гневно, отрывисто гавкнул.

— И ты, Дик, — обреченно вздохнул Петя.

— Завтракать будешь? — деликатно перевела разговор на другую тему Катя. Она хорошо знала, что после корпоративов у мужа просыпается зверский аппетит. И нет той силы, которая изменила бы этот закон.

— Что-то не хочется, — услышала Катя. Впервые за десятилетнюю совместную жизнь. И только теперь насторожилась всерьез.

— Может… тебе морковку почистить? — растерянно пробормотала Катя, но Петя только качнул головой, вернулся в спальню и плотно затворил за собой дверь. Взял Катькино круглое зеркало, перед которым она обычно наводила марафет, и начал исследование. Да, уши росли точно из лысины, рядышком, белым мехом прихватило и небольшой островок между ними, и темя чуть ниже. На просвет уши были нежно-розовые, теплым розовым цветом отливал даже густой белый мех. В голове они сидели крепко, как два побега

на грядке, однако новых слуховых ощущений не прибавилось, значит, были чистой декорацией. Что, пожалуй, внушало надежду. Или ему просто хотелось надеяться хоть на что-нибудь?

2

В дверь поскреблись. Папина любимица, четырехлетка Лизка с распущенными волосами, в ночной рубашечке с утятами уже входила в комнату. Аккуратно закрыла за собой дверь. Ей, конечно, всё уже донесли.

— Папочка, — выдохнула Лизка. Дочка приблизилась к нему и осторожно коснулась стоящих торчком ушей. Медленно провела по ним ладошкой.

Это оказалось довольно приятно.

— Зайка мой любимый, зайка мой беленький. Зайка мой мягкий, — приговаривала Лизка и гладила папе ушки.

Петя почувствовал, что глаза у него становятся мокрыми и что, как ни странно, все в этом мире не так уж отвратительно.

— Я сегодня на утренник стишки про зайчика буду рассказывать, — продолжала убаюкивать его Лизка, — хочешь, прочитаю тебе?

— Конечно, — кивнул Петя, и знакомый стишок

потек, а потом поскакал по кочкам.

Сидит, сидит зайка,
Сидит зайка серый
Под кустом, под кустом.
Охотнички едут,
Едут, скачут в поле,
Во пустом, во пустом.

Произнося стихи, Лизка смотрела на папу, широко распахнув свои темно-серые глаза и словно пытаясь его баюкать. Он кивал ей в ритм.

— И еще один мы учили, — продолжила дочка, когда стишок кончился. — Заяц белый, где ты бегал? — Лизка запнулась. — Ой, дальше что-то не помню…

Петя вздрогнул, он тоже не помнил, что там дальше, но саму присказку хорошо знал, ее почему-то любил повторять при встрече его старый закадычный друг и однокурсник Андрюха.

Последний раз они виделись почти год назад.

«А может, это как-то связано? — рассеянно думал Петя. — Сегодняшний утренник, стишки, Лизка, Андрюха», — но мысли этой не суждено было оформиться и сложиться: дверь с треском распахнулась.

На пороге стояла Катька. В руке она сжимала мобильник и почти кричала:

— Эпидемия! Ты такой не один. У некоторых еще вчера вечером выскочило! Кто-то как и ты. Проснулись, а они… зайцы! Но не только. Кто медвежонок, кто бельчонок, кто барсучок! — Катька опять не выдержала и прыснула. — Одни мужики, в основном начальники, почти все тоже… без волос. Пока только в Москве.

Жена быстро листала перед его глазами цветные картинки Инстаграма — на фотографиях мелькали растерянные и отчасти знакомые лица. С наросшими рыжими, темными ушками и, очевидно, хвостами… Был и ежиный случай — умную круглую голову одного знаменитого миллионера покрыла густая поросль темных иголок.

Радио, всегда вещавшее у них на кухне, сообщило, что в настоящий момент в Москве зафиксировано тридцать восемь подобных случаев странного «озверения», как сострил ведущий (идиот!).

— А я пока подожду, — раздумчиво произнес Петя, — фиксироваться. Что у нас там на завтрак, кстати?

После завтрака Лёнька побежал на автобус их

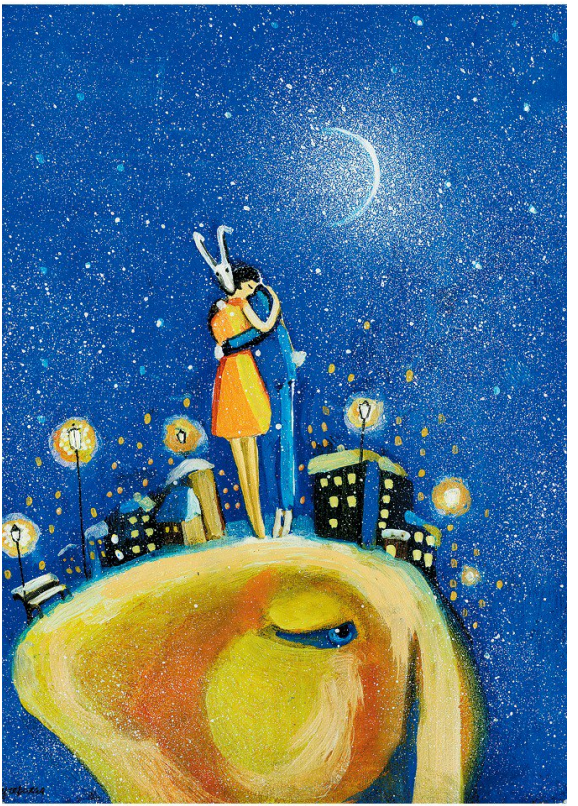
частной школы, Катя повела Лизку в детский сад, на утренник, а Петя позвонил главному и шепотом рассказал, что его свалил жуткий грипп, потеря голоса, жар, рвота. Протрубил по ватсапу отбой водителю, надиктовал длинное голосовое с инструкциями ассистенту Насте, попросив отменить три назначенные на сегодняшний, последний перед Новым годом рабочий день совещания. Наконец, оделся в домашние джинсы, старенькую клетчатую рубашку, заштопанную, но любимую, еще раз безнадежно взглянул в зеркало и отправился к себе в кабинет.

Это было самое тесное помещение их квартиры, но все необходимое здесь имелось: стол с компьютером, полки с книгами, диван на случай передохнуть от работы. Работал он здесь обычно по выходным, собирался немного и в каникулы. На полках стояли фотографии, и впервые за долгое время Петя остановился: вот он в байдарке — еще совсем молодой, кудрявый, голый по пояс, — крепко сжимает весло и смотрит так весело. А вот и вся их компашка: Андрюха, Рома, Валерка, Илюха. Когда-то они сплавлялись каждое лето и даже в зимние походы ходили. Но последнее время виделись только на днях рождения. И то чаще всего он не попадал, вечно был в команди-

ровках или работал до ночи. Или ехал с семьей куда-нибудь покататься на горных лыжах, положение обязывало.

Петя вздохнул, поискал Андрюху в телефоне и написал ему краткое сообщение: с Новым годом, Андрюх, чё как куда? Сообщение зависло.

Петя сел за стол, открыл почту, ответил на два самых неотложных письма и погрузился в новости. Данные обновились. Было зафиксировано уже 283 случая — к бурундучкам, белочкам, медведям прибавились лисята, оленята, бобрята! Продолжение явно следовало. Интересно, что пострадавшие в основном отказывались от разговоров с журналистами, в сети гуляло только две фотографии, сделанные со спины, — лисенок (из круглой желто-розовой лысины торчали два рыжих ушка) и олененок (на яйцевидной голове росли коричневые ушки и пока еще совсем маленькие рожки). И лишь четыре человека на условиях строгой анонимности описали появление хвостов и ушей.



Все было очень знакомо: превращение происходило во сне. Лишь у одного из собеседников (имевшего, как выразилось сообщавшее об этом издание, «отдельные медвежьи признаки») эти признаки возникли после крепкого вечернего сна, в который человекомедведь погрузился после работы. Проснулся он к полуночи, вскочил с ощущением необъяснимой эйфории, впрочем тут же и оборвавшейся: он увидел свое отражение в стеклянной дверце книжного шкафа…

К середине дня город уже по-настоящему лихорадило. Петя листал каналы и надивиться не мог: рынок отреагировал на эпидемию с волшебной скоростью.

Два ателье уже предлагали шапки новой модели, с учетом «анатомических особенностей черепа». Салоны красоты призывали сделать на ушах праздничный пирсинг. Косметологические клиники продвигали новый тип операции по ампутации ушей и хвостов, и это несмотря на то, что сразу несколько хирургов, согласившихся прокомментировать феномен трансформации, дружно повторяли, что с операцией спешить не стоит и лучше понаблюдать за динамикой. Телеканалы захлебывались новостями об очередных метаморфозах и включали интервью с жертвами

странного вируса. В соцсетях немедленно начали искать глубокий символический смысл происходящего и подозревать, что пострадали лишь те, кто близок к власти, но это не подтверждалось фактами, — в итоге все, как водится, вдрызг переругались.

Вскоре на смену заступили и психотерапевты. Они предлагали пострадавшим бесплатную, впрочем и платную, помощь. Энергичная, коротко стриженная дама-коуч в сиреневых очках на своем канале в Ютубе советовала нарисовать таблицу «было/стало» и записать в один столбик, что было возможно прежде и что станет — теперь, порадоваться перспективам и принять ситуацию. Ролик немедленно набрал миллион просмотров. Ближе к вечеру подросток Грета взволнованно объясняла взрослым, что они просто доигрались, вот пусть теперь и наслаждаются естественными последствиями варварского обращения с природой.

Наконец, вернулась Катя с детьми, и Петя отключил все это мельтешение, вырубил мобильник.

3

Весь вечер он играл с детьми. В прятки, лего, в «папа нас смешит», имаджинариум и любимое Лизкино чаепитие с участием всех кукол и зверей. Петя изображал зайку. Дети хохотали, ползали по Пете, вскоре почти перестали обращать внимание на его дополнительные уши, в общем, были совершенно счастливы щенячьим заливистым счастьем. Папа был с ними, папа с ними играл.

Когда Катя увела их умываться и спать, сидя на детской табуреточке перед столом с игрушечным чайным сервизом, Петя достал мертвый телефон, включил, но и не подумал идти в новости и мессенджеры. Сделал в «Заметках» табличку «было/стало» и записал в первый столбик: «Я никогда уже больше не смогу: руководить, получать столько *money*, нагибать партнеров, выбивать из партнеров то, что нужно моему банку, выступать на совещаниях, увольнять, орать на подчиненных, лебезить перед начальством, ездить каждые две недели в командировки, уставать как пес».

Он выдохнул и застрочил дальше: «Теперь я смогу играть с Лизиком и Лёнькой, ходить с ними на прогулки в парк, веселить детишек в детских

садах, быть артистом малого жанра, сниматься в фильмах, превратиться в суперзвезду детских сериалов, быть полезным объектом для научных исследований, чаще бывать дома, тусить с Катькой, ездить к маме, встречаться с людьми не только по делу, поехать, наконец, с ребятами на рыбалку, третий год зовут». Его поразило, что второй столбик получился намного длиннее.

Новая, гораздо более веселая и человеческая жизнь засверкала перед ним радужным озорным светом, волна утреннего счастья и легкости внезапно снова накрыла его и сделала невесомым.

Умытые дети пожелали папе спокойной ночи, Катька включила им сказку и позвала Петю на кухню. Налила в бокалы брют и произнесла совсем простой тост: «С новым счастьем!»

В минуты усталости он столько раз говорил ей, что мечтает лишь об одном — забыться и уснуть. Никаких совещаний, деловых завтраков и обедов, никакой тонкой и тошнотворной игры между министерством в столице и высшим начальством в Лондоне, этого вечно лежащего на плечах гранитного небосвода ответственности и гулкого одиночества, известного каждому даже не слишком важному начальнику. Он больше не атлант — просто человек, муж, папка.

Звякнул мобильник: это была эсэмэска от Насти, ассистентки. Петя, не читая, отправил ей мигающую гифку-елочку и короткий текст: «На каникулах меня нет, с наступающим!» И снова отключил мобильный.

4

Все кончилось в одночасье. Не прошло и пяти дней.

Ранним утром 2 января, когда страна медленно выбиралась из анабиоза, Петр Васильевич Курочкин и остальные официально выявленные и невыявленные пострадавшие обнаружили, что их мохнатые уши исчезли, а хвостики сгинули.

Петя почувствовал, что свободен, проснувшись на рассвете. Катька посапывала, отвернувшись к стене. Петя уже освоенным движением провел ладонью по голове, такая у него завелась привычка: изредка поглаживать свои ушки, проверять, как они там. Но на этот раз ладонь провела по знакомой голой лысине. Там было так же пусто, как прежде. Петя медленно провел по голове ладонью еще раз, на всякий случай — ничего. Скользнул вниз: исчез и хвост. Как никогда и не было. Петя усмехнулся, замер, и сейчас же чувство потери больно укололо сердце.

Да, поездку в Альпы пришлось отменить, но это были счастливые четыре дня — свободы, новой близости с родными, их жалости и его совсем другой, более благодарной любви к ним. Как же славно они встретили Новый год! Сколько смеялись.

Нет, не проклятие это было, а настоящий новогодний подарок.

Петя тихо поднялся, с помощью все того же Катькиного зеркальца изучил осиротевшую лысину и обнаружил на голом, покрытом легким пушком поле три коротких белых волоса. Подумал-подумал и решил их не трогать. Пусть растут, а что? Сувенир на память.

Он усмехнулся и взял молчавший все эти дни мобильный — поглядеть, как там у остальных, тоже обратно очеловечились? Он не сомневался, что да. Телефон ожил, засиял знакомыми приложениями и десятками полученных в эти дни нечитаных эсэмэсок.

Первой была Андрюхина: «Через три дня стартуем, на озере такой клев, говорят, офигенный, ты с нами?»

Вениамин Смехов

Чудотворец

Я всегда знал, что одним из чудес моей жизни была в 1960-х дружба с Высоцким, но только недавно, оглянувшись назад, я понял, что не поблагодарил его за невероятный подарок — ведь именно Высоцкий привел меня в кино. Как это было?

В 1964 году родился Московский театр на Таганке. Мне повезло: Ю. П. Любимов, собирая новую труппу из тех, кто играл в дипломном спектакле по Брехту «Добрый человек из Сезуана» в Щукинском училище, и тех, кого он решил оставить из прежнего Театра драмы и комедии, позвал меня продолжать работу на этой сцене. Большая часть актеров подверглась увольнению из-за реорганизации старого коллектива.

В «Добром человеке» я получил роль Третьего Бога и после двух месяцев репетиции 23 апреля участвовал в празднике нашей премьеры. Эти чудеса — Таганка и ее золотой век, 1964–1980, — уже описаны многократно в литературе о театрах России. Предмет моего рассказа — первые годы дружбы с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным. Любимов занимал нас троих в

важных ролях, и наше близкое общение шло и в стенах театра, и за его пределами.

Моя роль в «Добром человеке» — второго плана. Золотухин играл и пел песни Водоноса, Высоцкий играл Янг Суна, безработного летчика — это два главных персонажа. В домашних встречах — на днях рождения или на свадьбе Володи и Людмилы Абрамовой — тема театра и всех событий вокруг него обсуждалась подробно и горячо. Параллельно спектаклям Валерия и Володю приглашали на киносъемки.

Володя уходил в киноперио д — с головой, с полной растратой энергии, души, любви. Кино — один из предметов его страсти. «Кино найдет себе другого, а мать сыночка — никогда» — этот афоризм Юрия Визбора к Высоцкому не имел никакого отношения. Кино Володя любил. Всегда плотное слияние с персонажем, если кинематограф претендует на натуральность передачи событий, то почему бы не стереть грань между игрой и жизнью. В период подготовки — земной грешный артист любил, когда гримеры прихорашивали, «улучшали» его лицо, очень нравился себе в усах и при бороде — всё так… но когда надо сниматься, то вы следа не обнаружите актерского красования! В бороде или без, он душу вытрясет

из себя, из партнеров, из киношников, чтобы вышло все как задумано, чтобы без поблажек и без ссылок на головную боль!

С Володей и Золотухиным мы часто спорили тогда на тему кино. Я ругал киноактерство — и в шутку, и в крик говорил: «Имея такой театр, такую работу, таких зрителей, экран можно любить из чистого фанфаронства и из суеты чувств». Они смеялись: «Ты хоть раз попробуй сняться в хорошей роли, все свои глупости забудешь. Это, конечно, другая профессия, но раз она дается в руки, почему не попробовать?» А я шумел, что и пробовать противно, потому что киноартисты в большинстве своем — покалеченные славой, легкостью забот и больные честолюбием люди.

Все-таки они меня переубедили. Золотухин снялся в «Пакете». Высоцкий порадовал ролью в «Коротких встречах», и там была встреча с очень чистым кинематографом. Сегодня и Кире Муратовой, и Михаилу Швейцеру, и Александру Митте, и Станиславу Говорухину, и всем мастерам, кто не убоялся «риска», — поклон от миллионов за то, что снимали артиста Высоцкого. Володю любили все наши лучшие кинорежиссеры, но снимался у лучших он крайне редко. То ли ролей не выпало, то ли риску убоялись, то ли

мешал стереотип мышления: долго держалось мнение, что певец и поэт не является таким уж сильным актером…

Ни Володя, ни Валера из деликатности при мне о работе в кино не говорили. При чем тут деликатность, спросите вы? А вот при чем. Оба товарища знали мою ситуацию. С третьего курса меня приглашали сниматься. Традиционно киношники посещали дипломные показы во всех театральных институтах: в Школе-студии МХАТ, у щукинцев, в ГИТИСе, Щепкинском… Благодаря этому появлялись новые имена на экране. Со мной повторялось одно и то же. Меня разглядел режиссер фильма. Меня зовут на пробы. Я стараюсь. Режиссер уверяет, что доволен мною. Звучит обещание: «Вам позвонят». Но никто не звонит. Тогда я сам звоню ассистенту или режиссеру. Далее без подробностей: режиссер готов меня снимать, но некто из худсовета против. Я понимал: бывает, — и не переживал, но, когда это повторилось в десятый раз, стал просить объяснений. Режиссеры уклонялись от ответа. Ответил единственный — Генрих Габай, хороший режиссер, герой войны, к тому же муж дочери мейерхольдовского актера — Сергея Мартинсона. Габай звал меня на главную роль в фильм

«Лебедев против Лебедева». Он признался: «В работу утвердили нескольких снимавшихся ранее актеров еврейской национальности — Леонида Сатановского, Леонида Броневого и Владимира Рецептера, но все они — представители менее явного национального типа, чем вы, поэтому Лебедева будет играть Владимир Рецептер, а вам не разрешили. Мне очень жалко».

Это был уже 1965 год. Я рассказал друзьям. Валерий не среагировал, его, алтайского мужичка, национальный вопрос не волновал. Володя — сам полукровка, его это задело, и он сильно матерился. Спустя два года я понял, что особенность характера Высоцкого — быть очень внимательным к приятелям и реагировать на несправедливость. Он не верил, что я легко смирялся, и считал мой оптимизм, с которым я относился к кинозапретам на фоне трудов и успехов Таганки, показным. По-моему, он именно тогда задумал вовлечь меня в кинематограф. И однажды ему это удалось, что я понял только теперь, спустя более чем полвека.

Итак, 1967 год. В Измаиле-городе идут съемки фильма «Служили два товарища». В главных ролях Олег Янковский с Роланом Быковым, двое красных товарищей, и Владимир Высоцкий — поручик Брусенцов, их враг — белогвардеец.

Володя обратился к авторам сценария, друзьям Валерию Фриду и Юлию Дунскому, с идеей: хорошо бы дописать его герою второго товарища, а то красные — парой, а он — в одиночестве. И сценаристы придумали белого офицера с благозвучной для антисемитов фамилией — барон Краузе. Высоцкий, конечно, предвидел мою не самую восторженную реакцию: маленькая роль в кино при ведущем положении в театре… Но хорошо знал силу своего влияния на нас — жертв земного притяжения. Эту свою черту описал в песне:

Если я чего решил — я выпью-то обязательно,

но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

Между прочим, у Пушкина на эту тему было чуть скромнее: «Когда на что решусь, уж я не отступаю». У Володи на мою унылую реакцию было два контраргумента: «Во-первых, превосходный режиссер Евгений Карелов и блестящие актеры: Быков, Папанов, Саввина, Крючков, наша Демидова; во-вторых, билет на самолет уже у меня, мы летим вдвоем, и я тебе покажу, какая это сказочная штука — кино, и не возражай, пожалуйста!»

Невозможно спрятаться от его убежденно-

сти. Высоцкий не выносил упрямства перед очевидностью. Факт налицо: режиссер, роль, полет, Одесса, все свои, увлекательность сюжета, профессиональный интерес. А человек упрямо сопротивляется. Еще два раза, сверкая очами, повышая голос до опасного тона, повторяет аргументы… Если и после этого не согласишься, неизвестно, чем кончится буря гнева…

Я согласился попробовать. Не хочу подробностей о том, почему так и не исполнилось желание Владимира «прописать», продлить существование моего персонажа, провести его через фильм. Но вот несколько моментов проявлений характера Высоцкого вспомнить уместно. Он умел влюблять в свою стихию и любил удивлять людей — радостью, новостью, добром. Полет в Одессу — и мы обсуждаем общие дела в театре.

Володя от всей души расхваливал приметы натурных киносъемок. Зачем сидеть в Москве — в свободные от театра дни, в кино интересно с первых минут: самолет, смена впечатлений, смотри: снижаемся в Одессе, здорово!

Старенький самолет из Одессы в Измаил. Человек пятнадцать. Все сидят рядом, шум моторов невообразимый. В манере Деда Мороза он зовет меня балдеть: «Глянь, дурачок, справа красавец-

лиман, глянь влево: море! Черное! Понял? Это у тебя уже настало кино! Понял?!» Я ему на весь салон машины: «Да, не кричи, я понял! Одессу в жизни ни разу не видел, а там у моей мамы все детство проходило!» — «При чем тут твоя мама, мы уже летим в Измаил!»

Высоцкому мешает восторгаться… насморк. Он учит меня, мучая себя: вот что надо делать, если заложило уши… «Гляди и повторяй: я быстро жму двумя пальцами слева, двумя справа на уши и на ноздри и часто-часто сглатываю. Прошла закупорка — все равно быстро-быстро, часто-часто». Мне не надо, но он требует! И сам без передышки жмет и на меня давит. Я тоже жму, раз ему надо, а он придирается, корректирует мое исполнение. Я думаю: «Мне-то не нужно, но ему, видимо, так легче, веселее? Может, учительство отвлекает его от противности процесса». А когда сели в Измаиле, он быстро пробежал к встречающим и сообщил, что самолет — ветеран, что летит смешно, но что у нас заложило уши, поэтому мы не заметили, как долетели. Нет, он не наивен до такой степени, наедине он мне скажет чуть позже: «Ты не смейся, чудачок, ты теперь уже научился растыкать закупорку — ты меня еще вспомнишь».

А потом по дороге к съемочному городку филь-

ма «Служили два товарища» — советы, подсказки, уговоры не теряться, хотя я вроде и так не теряюсь. Но он что-то чувствовал такое, в чем я и себе не признавался. В театре — опыт, роли, все знакомо, а тут — явный риск осрамиться, и перед кем — перед киношниками… Он говорил, поучал, но мне казалось, что он не меня поучал всем выгодам киноработы, а сам себе прибавлял уверенности в собственной избранности — в мире актерских будней-праздников.

Гм… Доехали. Володя стремительно вводит в чужой мир, на ходу рассыпая подарки положительных эмоций. Знакомит с группой, и о каждом — коротко, с юмором и с нежностью. Оператор — чудо, ассистенты — милые ребята, звуковики — мастера и люди что надо и т. д.

Пространство для съемки охватило скромный участок высокого берега над Дунаем. Вдали от пушек, штаба командиров процесса и волнующейся массы бессарабских колхозников в виде царских и белогвардейских солдат на реке примостился домик-поплавок. В нем проживали прибывающие артисты. Нас поселили в двойной каюте. Володя не уставал ошарашивать новичка сказочными подробностями: «Такую реку мощную видел когда-нибудь? Дунай в школе проходил,

самую главную реку в Европе, как у нас Волга, а?!» Я балдею, подойдя к окошку. «А мужиков там и сям, с удочками, видишь? Это, Венька, румыны! А тот берег, где чистые беленькие домишки, это что, по-твоему? Это, друг мой, Румыния, и мы с тобой фактически в загранке, в Европе, а почему?! Только потому, что мы с тобой попали в кино!» — торжествовал Высоцкий. За дверью нас зовет зычный командирский голос Славы Берёзко, ассистента режиссера: «А ну-ка, москвичи-лодыри, быстренько топаем на площадку. Женя Карелов жаждет с утра узреть Высоцкого с бароном-другом!»

И мы добрались до холма над рекой и обнялись с милейшим хозяином кинотворения. Женя призвал Славу. Слава взял в руки свое орудие — мегафон, он же — матюгальник, и завопил на весь берег Дуная: «Внимания, массовка! В честь прибытия на съемки двух великих народных артистов лучшего театра Москвы и Европы — Таганки — Владимира Высоцкого и Вениамина Смехова — дружное наше армейское ура!» И троекратная мощная волна мужского хора накрыла вечернюю гладь главного европейского водоема: «Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а-а!!!» И счастливый Володя резко двинул левым локтем в мой правый бок. Я

повернулся к нему, и он одними губами прокомментировал: «Кино!»

Дальше — вечер у Карелова, разбор завтрашней съемки, ночь бесед с Володей о кино и поэзии, наши безостановочные обсуждения и театра, и Любимова, и Володиных песен — их жанра, речевой музыки, рифм и подтекстов… Как ему дороги были его первые стилизации городского романса и как его посещали сомнения об органике песен-сказок. В то лето я подготовил предисловие к возможному сборнику его стихов, и это даже обсуждалось в редакции «Юности»… Помню какие-то варианты названия: «Владимир Высоцкий — дитя и хозяин стихий», «Игра стихий и стихи Владимира Высоцкого». Имелось в виду — стихия (в его песнях) военного времени, стихия человеческого риска, мужество в спорте, стихия праздничной энергии языка, событий, нравов…

Переворачиваю мой бинокль памяти, приближаю давно прошедшее… Получаю раннее утро первой съемки, грим, переодевание в вагончике — с добрыми хозяйками костюмерами, гримерами; репетицию с Кареловым, обживание точки съемки… И непривычно, и знакомо по театру. Нравится строгость, четкость в движениях, замечания Виктора Белокопытова — кинооператора,

забота реквизиторов и первый прогон эпизода: спешка Брусенцова и барона Краузе — пора захватить свое добро и — к двум коням, и — вон отсюда! И на ходу поручик, увидев в отдалении обоих красных, забирает у меня ружье, целится, стреляет, убивает Андрея Некрасова (Янковский), и мы убегаем, исчезаем… Я в ужасе от легкости «делового» убийства, эпизод сыгран. Еще репетиция, и — первый дубль снимается. Володя мне очень нравится в непривычной сердитой спешке, в небрежном обращении ко мне — забрать мое ружье, вести эпизод, не реагируя на растерянность партнера и его нежелание соучаствовать в убийстве. Это рифма к той роли опекуна в кино, которую поэт проводит со мной в реальности. «Ты другой, Веня», — говорит он мне за ужином в гостинице. «То есть?» — спрашиваю я. Высоцкий смеется: «Тебя усы изменили так, что я тебя за ними не узнал. Доброй ночи».

Высоцкий знал про кино все. Казалось, он может работать за всех — от режиссера и оператора до монтажера и каскадера. Впрочем, каскадеры-дублеры здесь исключались. Все сам. Известно, что он с ранних работ в кино не просто овладел конным спортом, но даже вольтижировал, совершал цирковые номера верхом на лошади. И как

дитя стихий впадал в абсурд…

Доброе утро не обнаружило в нашей каюте моего добрососеда! Высоцкий = Высоцкий. С семи утра снимают наших дублеров, скачущих на наших лошадях, — на дальнем плане, на красивом гребне горы. И режиссеру Карелову не удалось отговорить Володю: «Отдохни, пожалуйста! Ваша сцена в два часа дня! И тебя в этом кадре никто не узнает, твой дублер в похожей амуниции сам себя не узнает на экране!» Высоцкого эта логика не устраивает: он осваивал конный трюк в 1963 году, к фильму «Штрафной удар», и отважно совершал сальто — с одной лошади на другую под присмотром Михаила Пуговкина… — хотя монтаж трюка был гарантирован и без его рискованного прыжка.

А теперь, в 1967 году, Володя в час дня вернулся в нашу каюту, принял душ… И не успел выйти и по-честному похвалиться успехом, как вбежал к нам Женя Карелов: «Веня, где Высоцкий?! В душе?! Ф-фу! Что ты, я не психую, я хотел поздравить этого фаната-конника».

Володя переодевается, и опять — на коня. Три часа скачек, съемок, пересъемок того крохотного кадра, где его и мой герои появятся верхом — очень далеко, на горизонте… Все завершилось

хорошо, и Высоцкий благородно похвалил снятый материал и «мой успех» в дебюте.

Возвращаемся в Москву. Самолет Одесса — Москва. Рядом с нами Андрей Тарковский, у которого «Андрей Рублев» лежит «на полке», но он надеется, что скоро фильм выйдет, хотя он ничего не дает в нем менять. А пока Высоцкий обсуждает с режиссером идею «Гамлета» (это за четыре года до нашего спектакля). Тарковский говорит, что он с удовольствием поставил бы пьесу в Англии, тогда бы два месяца — на освоение языка и контакт с актерами, а еще два — собственно постановка. И что надо реализовать метафору о кровавом времени, должно быть много крови, в Англии это пройдет. Все это обсуждается не без юмора. Вдруг напряглись: затих один мотор. Высоцкий комментирует. Оба, видимо, и в самолетах разбираются, не только в «Гамлете». Перечисляют достоинства нашего самолета. Опять напряглись: ничего себе, второй заглох. Я отвлекаю вопросом: сколько осталось, мол, и успеем ли до оглушения оставшихся моторов приземлиться. Володя продолжает дискуссию о двигателе, о шасси, еще о чем-то темном для меня. Через некоторое время оба заявили, что третий тоже заглох. Правду сказать, следов испуга я не

заметил, но озабоченность и интерес к технике явно повысились у моих соседей. Я перебиваю, нервно задираясь пародией на Высоцкого: «Володя, чего волноваться! Ты же отлично знаешь аэрогидрофаллические потенции нашего лучшего в мире парапсихофюзеляжа, а также — какая прелесть, скажи, этот турбоэлектронный, ангелохранительный и вместе с тем совершенно шестикрылый аэросерафим»…

— Дурак! — резюмировал Высоцкий. И сразу же оба успокоились: вновь загудели из трех «отдохнувших» целых два!

Потом я выяснил, что шутливо-бодро-озабоченное состояние духа прикрывало настоящее волнение, и уж я-то совсем зря острил, ибо не понимал, чем в самом деле грозил этот рейс.

А через три дня в Москве я получаю телеграмму: срочно лететь в Измаил — на пересъемку, елки-палки! Володя звонит.

— Вызов на съемку, получил?

— Получил.

— Ну и как, летишь?

— Лечу. Без настроения, Вова.

— Дурачок, пересъемка — это к лучшему, понял?

— Понял… чем мужик бабу донял…[1]

В Измаиле, в той же каюте, Высоцкий объясняет повод пересъемки. Эпизод хвалили, но Ролан Быков, пристрастный соучастник съемок фильма, отругал Карелова и гримеров — за мой внешний вид: «Какой он, к черту, барон? Он, в этих усах, типичный генацвале!» И наутро меня срочно снимают — безусым бароном. Снялся, принял душ, уехал в аэропорт Одессы, улетел в Москву.

Володя звонит ночью домой (не теряет контроля поручик Брусенцов): «В театр не опоздал? Как прошел спектакль?» — «Всё отлично, ваше благородие, как твоя смена?» — «Нормально, Венька, я рад, что ты звучишь добро, без дурацкой меланхолии, спокойной ночи!»

Дело сделано, слава богу, и как партнер Высоцкий должен был идти своим путем до конца съемок. Но как чудотворец, оказалось, он приготовил для меня еще один необычайный подарок.

По дороге на съемки я вскользь упомянул про то, что не знаю Одессу, а о знакомстве с городом, где прошло детство моей мамы, я мечтал. Володя

---

[1] Примечания: 1

Это текст из роли Кузькина в гениальном спектакле «Живой», повесть Бориса Можаева, постановка Юрия Любимова, сценография Давида Боровского, главную роль играл Валерий Золотухин, запрещение Екатерины Фурцевой и горкома КПСС.

запомнил мои вздохи в аэропорту — жалко в таком городе бывать транзитом, и где-то в разгар осени того же 1967-го я получил новую телеграмму с солидной подписью режиссера и директора группы «Служили два товарища»: меня опять требуют в Измаил. Причина: наш материал в браке! Видимо, они помогают Высоцкому окончательно влюбить меня в кинопроизводство… С трудом выискиваю два свободных от спектаклей дня, кляну себя за мягкотелость, а кино — за фокусы; лечу, конечно, без настроения. В аэропорту, прямо у трапа — ого, сам Высоцкий. И — ни одного мосфильмовца. Володя стоит и качается с пяток на носки. Глаза — плутовские. Сообщает: едем не на съемку, а на два выходных его дня, и он на свою голову берет меня в Одессу. Почему? Потому что моя мама детство провела в Одессе, а я там — еще ни разу! Понятно, меня ненадолго хватило на возмущение…

Володя показывал город, который всю жизнь любил, и было ощущение, что он его сам выдумал… и сетку проспектов, и пляжи, и платаны, и Пушкина на бульваре, и Дюка Ришелье, и яркие, жаркие подробности морских боев обороны, и вообще жизнь одесского порта. Мы ночевали в «Куряже», общежитии киностудии, на Про-

летарском, ныне Французском, бульваре. Там, вскладчину, решали проблему обеда — в походном режиме. Много арбузов было съедено — это я точно помню. Рядом с Володей — Слава Говорухин, Шура Фадеев[2], Гена Воропаев[3] (с ним и его другом Лёвой Милиндером[4] дружба моя продлевалась уже в Ленинграде, в их родном акимовском Театре комедии). А напротив общежития — дом киношников. Вышли с Володей во двор — в окне второго этажа Кира Муратова… Через тридцать пять лет в Москве, в Доме кинематографистов, после премьеры ее фильма «Чеховские мотивы» подошел, поздравил и спросил: «Кира, а помните…» — «Помню, как нас познакомил Володя!..»

Я за два дня, кажется, узнал и полюбил тысяч двадцать друзей Высоцкого. Актеры, режиссеры, писатели, моряки, одесситы и москвичи… Сижу

---

[2] Примечания: 2

Александр Фадеев (1936–1993) — советский, российский актер театра и кино. Сын актрисы Ангелины Степановой, приемный сын писателя Александра Фадеева. Снимался с Владимиром Высоцким в фильме «Вертикаль».

[3] Примечания: 3

Геннадий Воропаев (1931–2001) — советский, российский актер театра и кино. С 1959 года актер Ленинградского театра комедии.

[4] Примечания: 4

Лев Милиндер (1930–2005) — советский, российский актер театра и кино, знаменитый автор театральных капустников.

зрителем на его концерте в проектном институте. Сижу на прощальном ужине, где Володя — абсолютно непьющий тамада и внимательный хозяин. Да и весь двухдневный подарок — без единой натуги, без ощущения необычности, только помню острые взгляды в мою сторону, быстрая разведка: ты в восторге? всё в порядке?

Фильм «Служили два товарища» ждал большой успех. Роль Высоцкого высоко оценили коллеги и зрители. И сам Володя заметно гордился успехом и фильма, и своего героя. Что до моего скромного участия, об этом говорить нечего, однако характер Высоцкого не мог допустить пессимизма в свой адрес. И чудотворец элегантно завершил наши совместные «открытия» в кино.



Через несколько месяцев после выхода фильма на всесоюзные экраны Высоцкий заходит в театре в нашу общую гримерку и дарит мне книжечку, изданную Госкино: «Служили два товарища», со сценарием и массой фото из фильма. «Вот, напиши мне что-нибудь на память о наших с тобой съемках». Второй экземпляр книжки он дарит мне, с уже готовой надписью-автографом. Я хотел поскромничать (какое там мое участие) — Володя крепко похвалил издание: «Среди героев фильма тут две твои фотографии!» И, пролистав, явил меня в двух видах: барон Краузе в усах и он же без оных! И я, не скрыл своего удовольствия, написал ему благодарственные слова.

Надеюсь, что архив Высоцкого, в том числе подаренная им книжка «Служили два товарища», в целости сохраняется в РГАЛИ, куда я отдал все кажущиеся мне важными для потомков автографы и документы. А мой автограф, вместе с книжкой, после смерти Володи хранится у Марины Влади, в ее части архива.

Стихами же Высоцкого по-честному горжусь:

Служили два товарища
В однем и тем полке,
И третьего товарища

Варили в котелке.
Пусть солнце киногения
Не так уж, чтоб взошло, —
Твое изображение
Есть в книге, всем назло.
Но вот в умах брожение
И рвение за гения —
Есть в книжице изъян.
Всегда уверен в Вене я:
Его изображения —
Да, наводнят «Экран».

Мои ангелы небесные приняли это пожелание всерьез — и с тех пор меня стали звать и снимать в кино!

Глянул в «Википедию»: с 1967 до 2020 года я, оказывается, участвовал в шестидесяти девяти художественных, документальных, теле-, мульти- и иных фильмах. Но то, что поэт назвал «наводнят „Экран“», — это можно считать осуществленным только два раза. Первый на студии «Лентелефильм», в 1982 году, по моей сказке «Али-баба и 40 разбойников» (звуковой альбом фирмы «Мелодия», 1981) — популярный фильм для очень многих миллионов зрителей. Второй

случай, так сказать, «бешеной популярности» — «Д'Артаньян и три мушкетера». Снимал фильм и его продолжение Юра Хилькевич, друг Владимира Высоцкого.

После барона Краузе я стал графом де Ла Фер. В Театре на Таганке через десять лет после барона Краузе я исполнил роль князя тьмы — мессира Воланда. Граф, барон и князь — меня «повышали в социуме»!

О совпадениях. В 1978 году в Одессе в соседних павильонах снимались два фильма — «Место встречи изменить нельзя» и «Д'Артаньян и три мушкетера», и мы с Володей оказались рядом.

Знаменитый герцог Арман Эммануэль дю Плесси де Ришелье — потомок кардинала Ришелье, врага моего Атоса и остальных мушкетеров — был во Франции министром иностранных дел при Людовике XVIII. После французской революции, приехав в Россию, дружил с Александром I, по каковой причине стал градоначальником Одессы и генерал-губернатором Малороссии и Бессарабии. Высоцкий, обожатель Одессы, уверял меня, что Арман Эммануэль дю Плесси де Ришелье стал в России генералом и отвоевал Измаил, конечно, для будущих съемок фильма «Служили два товарища». Звали его в Одессе никаким не Дюком,

а просто Эммануил Осипыч, и всё. А мой славный коллега по Театру на Таганке и по фильму «Три мушкетера» Саша Трофимов хорошо сыграл кардинала Ришелье, а на съемках в Одессе отказывался именоваться Арман Иванович, а гордо представлялся: «Арман Жан дю Плесси де Ришелье!»

Слава Говорухин — режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» — во время съемок учился водить машину. Как-то он попросил меня, к этому времени водителя с трехлетним стажем, немного поездить с ним по городу. Вместо себя в качестве режиссера он оставил Володю Высоцкого. Мы со Славой с переменным успехом перемещались по Одессе на новом и первом в жизни Славы автомобиле. Я — в качестве тренера-надзирателя. Говорухин — в качестве экзаменуемого. На каком-то повороте он воскликнул: «Представляю, с какой детской радостью Вова сейчас дает режиссерские команды световикам, актерам, звукорежиссеру и рабочей бригаде!» Позднее Володя говорил, что народ на съемочной площадке был непослушным и без дикого крика дело еле тянулось. А Слава хвалил Володин успех: за одну смену он втрое превысил лимит пленки и времени!

И еще о совпадениях. В 1980 году, осенью, пережив смерть Высоцкого, я оказался в Тартуском университете по приглашению великого ученого-слависта Юрия Михайловича Лотмана. Там я узнал, что автором большого здания знаменитого университета был вероятный предок моего героя из фильма «Служили два товарища» — обрусевший немец Иоганн Вильгельм Краузе. В Тарту я выступал на вечере памяти Владимира Высоцкого. После выступления, общаясь с Лотманом, я благодарил его за книгу о «Евгении Онегине» и монографию о Пушкине. Памятно его согласие с моими замечаниями о некоторых сходствах в характерах обоих поэтов: Пушкина и Высоцкого. Как для Пушкина были определяющими чувство дома, личное присутствие в биографиях его персонажей и чувство собственного достоинства, так было и у Володи. Юрию Михайловичу это показалось интересным и справедливым.

Сегодня мне восемьдесят четыре года, и я ровно в два раза старше Высоцкого: ему навсегда сорок два. Я все еще снимаюсь и только что приехал со съемок. «О, как я поздно понял…» — вертится у меня в голове строчка из Давида Самойлова, — что по молодому легкомыслию не догадался, какое чудо совершил тогда, в 1967 году, Высоц-

кий, преодолев запреты и втянув меня в мой первый фильм «Служили два товарища»... и не поблагодарил его... Теперь и время, и место наших встреч не вернуть. И я обращаюсь в небеса: «Спасибо, Высоцкий, спасибо, Володя, актер по закулисному прозвищу Высота!»

Шамиль Идиатуллин

Только там радость

Снег шел, падал, поднимался, метался и недвижно висел, будто пыль в солнечном луче, и не было ему ни конца ни краю, сплошная белесо-серая середина между белесо-серой дорогой и белесо-серым небом. Снег то с траурной торжественностью оседал толстыми пушистыми хлопьями и лишь в последний миг, спохватившись, со всей дури кидался на лобовое стекло, размазываясь в мучную кляксу, то съеживался на ветру в твердые крупинки, расчерчивал мир быстрыми диагоналями и переходил к обдуманным затяжным атакам с разных сторон. Снег размазывался по стеклу полосами мутноватой глазури, оставляя прозрачными лишь небольшие лунки, как на картинке из детской книжки, и сбивался в комья, обволакивая дворники вспотевшей сахарной ватой. Снег изо всех сил давал понять всему, что движется, что лучше не двигаться, а залечь в теплую уютную норку и под шорох, скрип и свист за таким вот окольцованным инеем окном с картинки заниматься чем-нибудь приятным или хотя бы полезным, — и сил этих у снега было куда больше, чем у всего,

что движется.

Но движение — это жизнь, а неподвижность, стало быть, наоборот. Движение же вслепую — лучший способ с жизнью расстаться.

Поэтому Насыр продолжал движение, до боли в висках и в затылке пялясь сквозь сужающуюся амбразуру, пока не приходилось все-таки останавливаться на обочине и почти уже без горестных вздохов выскакивать со скребком наперевес, чтобы громко содрать ледовую оболочку со стекла и выбрать из полостей и щелей дворников гроздья синеватых от незамерзайки жемчужин. Перед этим Насыр, конечно, вглядывался и в обочину, и в зеркала, чтобы не впилиться куда-нибудь и не поймать распахнутой дверцей невнимательную машину.

Машин не было. И обочины были пустыми, всегда. Ни торопливых путников, ни прикорнувших машин, ни терпеливых бабушек под остановочным козырьком. Одна только женщина.

Насыр вздрогнул.

Женщину он заметил, лишь завершив в такт надсадному скрипу со скрежетом врубаться в ледовый пласт по периметру лобовухи и смахнув остатки снежной пыли щеткой. Скрип издавала под порывами ветра жестяная табличка с авто-

бусным расписанием. Насыр, когда выскакивал из машины на предостановочном пятачке, не вглядывался, конечно, в тень павильона, вот и не заметил женщину, которую маскировала еще и одежда — длинное темное пальто, почти сливавшееся со сгустком мрака, даже на взгляд куда более стылого, чем пуржистый ветер над дорогой. А светлое пятно лица могло оказаться, например, следом крупного снежка.

Насыр вздрогнул сильнее, поспешно запахнул расстегнутую куртку и крикнул, в основном чтобы набраться уверенности:

— Подвезти вас?

Светлое пятно чуть качнулось — ага, значит, все-таки человек, а не след снежка — и снова застыло.

Похоже, соображалку уже отморозила, подумал Насыр с беспокойством и сказал громко, но убедительно:

— Все равно в город еду, давайте подброшу. Автобусы сегодня после обеда раз в час ходят, замерзнете.

Светлое пятно не шевелилось. Боится, понял Насыр с досадой. Она-то мое лицо видит. Может, всех таких боится.

Он добавил уже тише:

— Я таксист, в Осинки клиента отвез, на обратку никого не нашлось, пустым еду. Вас за так довезу.

Насыр подождал, застегивая куртку, хмыкнул и шагнул к машине. Не хочет — не надо. Ей, в конце концов, жить. Ну или не жить.

Силуэт шевельнулся — как именно, Насыр не разглядел, но сразу сообразил, что женщина посмотрела на часы на запястье или в телефоне, почему-то не давшем ни малейшей подсветки.

— Еще рано, — сказала она.

Тихим грудным голосом сказала, но Насыр услышал: как раз стих ветер и прервался тоскливый скрип. Он сам едва не заскрипел от внезапной колючей дрожи, взбежавшей от лопаток к макушке, и ответил:

— Помирать всегда рано. Заболеете или еще чего хуже. Давайте хотя бы до Московской подброшу, там магазины и кафешки сегодня допоздна. Или куда удобно. В тепле ждать приятней.

Она опять двинула, кажется, рукой — очевидно, все-таки с телефоном, и до Насыра дошло:

— А, вы такси заказали на конкретное время? Так я предупрежу сейчас диспетчера, что перехватил, а с водилой рассчитаемся, нормально все будет. Там опять вся система упала, и приложе-

ние, и навигатор тоже, вообще ничего толком не работает. Да вы знаете, небось. Телефон снова телефоном стал, чисто позвонить.

Он усмехнулся и для очистки совести уточнил:

— Поедем, а? А то я потом изводиться буду, а тут дубак, а вы одна, и вообще.

Насыр был почти уверен, что женщина не пойдет и коли не замерзнет здесь, так отстудит себе все на свете, коза упрямая. Поэтому он собирался, как тронется, позвонить Трофиму или Боре, которых диспетчеры использовали в таких, не слишком частых, но все-таки регулярных, случаях.

Не дождавшись ответа, Насыр кивнул и сел в машину. И снова вздрогнул, потому что одновременно с его дверью захлопнулась правая задняя дверь, а женщина, оказавшаяся изумительно проворной, щелкнула ремнем безопасности и замерла на диване, глядя на Насыра через зеркало, но как будто прямо в глаза.

Не женщина это была, а девушка. Ослепительная.

Глаза у нее были красивые, черные, и сама она была очень красива, очень молода и очень бледна. Еще бы, столько на морозе проторчать.

Растекшаяся от заднего сиденья волна холода

сунулась Насыру за ворот и к бокам. Он поежился и поспешно включил печку, бормоча, что сейчас тронемся и согреетесь сразу. Сзади тут же дохнуло жаром, аж шея взмокла и мгновенно высохла. Насыр смутился, убавил градус, включил поворотник и начал выезжать из кармана, но тут же дал по тормозам.

Мимо пролетел темный спорткар, опасно вильнув и заорав сигналом, звук которого стремительно менялся согласно какому-то физическому закону. Насыр вдохнул в тон сигналу, пробормотал: «Вот… летчик», с трудом оторвал от руля холодные мокрые пальцы и вытер их о штаны, похвалив себя за то, что не выругался при девушке. Да не только в девушке дело. Не выругался — всяко молодец, ибо сказано: «Не злословьте» и сказано: «Тот, кто слышит и судит каждое слово, всегда рядом».

А если бы я на печку не отвлекся и успел выехать на дорогу, он бы в меня обязательно врубился, с ужасом осознал Насыр и снова принялся вытирать ладони о штаны. Или догнал бы на следующем повороте, там как раз слепой участок. А сбрасывать скорость водитель спорткара, похоже, не привык.

Девушка громко вздохнула. Ну да, сели и не

едем, кругом на километры никого, вечер надвигается, и кто его знает, что водитель задумал.

— Все нормально, уже трогаемся, — поспешил успокоить Насыр.

Он дисциплинированно посмотрел в боковое, потом в верхнее зеркало и ободряюще улыбнулся. Девушка в ответ не улыбнулась. Она смотрела в зеркало, прямо в глаза Насыру, серьезно и даже строго. Сидела девушка уже не прямо, а очень расслабленно, и пальто у нее, оказывается, было расстегнуто и сверху, и снизу, и белая кожа сияла, сверху и снизу, ярко и остро, как галогенка или даже язычок ацетиленового пламени.

Так же ярко и остро Насыр понял, что под пальто на девушке ничего не надето.

Понятно, почему так озябла, подумал он машинально и спохватился: что, даже на ногах ничего? Ну, ниже ослепительной и совершенно чеканной коленки?

Длиннющая узкая голень переходила в длиннющую узкую лодыжку и длиннющую узкую ступню, так что нога походила на мускулистую анаконду-альбиноса. Вправду босиком, понял Насыр. Это как же она до остановки-то дошла? И откуда? Или ее выбросили там?

Но тут девушка сняла ногу с ноги и, не отрывая

угольного взгляда от зеркальца, неспешно развела мраморные коленки.

Насыра опять обдало жаром, уже не понять, сзади, спереди или изнутри. Он поспешно отвел глаза, снова вытер руки о штаны, вернул рычаг на нейтралку и сказал, предварительно откашлявшись:

— Вы если про оплату беспокоитесь, не беспокойтесь. Не надо ничего.

Сзади молчали. Насыр пожал плечами и раздраженно добавил:

— Если так хочется, можно на телефон бросить.

Сзади донесся шорох. Насыр нерешительно глянул в зеркало и расслабился. Теперь белым светилось только лицо девушки, а силуэт был беспросветно темным, даже лежавшая на коленях ладонь, вроде пустая, но выставленная так, будто держала телефон. Сидела девушка уже прямо и смирно, даже снова успела пристегнуться, кажется.

Насыр, запнувшись, с некоторой досадой продиктовал номер. Девушка принялась чертить темным пальцем по темной ладони, нет, по кожаной перчатке, — снова нет, не перчатка это, а все-таки телефон, и да, экран у него совершенно

без подсветки, как у читалки на электронных чернилах.

— Сумма на ваше усмотрение. Но лучше на эти деньги подарок кому-нибудь купите. Хоть себе, а лучше детишкам, соседским, допустим, или племяннику. Печеньки там, игрушку. Правда, мне приятней будет.

Он сказал это больше для себя или того самого всегдашнего судьи-слушателя, чем для девушки, которая вряд ли привыкла не получать, а делать подарки, тем более детям — молодая больно. Понизив голос, Насыр совсем для себя пробормотал привычно: «Бисмилля», снова проверил дорогу по зеркалам и тронулся, стараясь не отвлекаться на ухваченный пристальный взгляд сзади. Не пристальный даже, а пронзительный. Пронизывающий.

Смотри, кривляйся, ногами болтай, да хоть закувыркайся там, только меня не трогай и сама будь здорова, подумал Насыр мрачно. Девушка, кстати, может вправду быть нездоровой, не умственно даже, это бы ладно, кто сегодня здоровый-то, а физически — раненой, простуженной или просто голодной.

— Слушайте, может, вы есть-пить хотите? — спросил он. — Вот водичка, и шоколадка вроде

была, если что.

Он выудил из держателя бутылочку, мельком подумав, что такая может и побрезговать, поэтому добавил:

— Долго голодать нельзя, особенно на холоде, не пить тем более.

Протянуть воду назад Насыр не успел. Опять заныло в затылке и онемели пальцы, в ушах загудело, и все вокруг стало непонятным и неправильным. Он уронил бутылку в держатель, вцепился в руль, вильнул, отскакивая от обочины, тут же аккуратно, чтобы не занесло, затормозил, остановился и вгляделся в зеркало. Уже не обращая внимания на заднее сиденье, Насыр врубил аварийку и дал задний ход.

За снежным бруствером обочины барахталось что-то похожее на крупную собаку или поддельного медведя. Вернее, человека в ростовом костюме медведя.

Насыр остановился, чуть не доезжая, и выскочил из машины.

Не было никакого ростового костюма, но человек был. Женщина в просторной бежевой куртке, распахнутые полы которой и сбивали с толку, как и заснеженные уже волосы, болтавшиеся не в такт ветру.

Женщина пыталась выбраться на дорогу через снежный вал, отделявший асфальт от заснеженного поля. Ни перелезть поверху, ни пробиться насквозь сил у нее не хватило. Она тыкалась в снежные комья головой и плечами, застывала и тыкалась снова, оставляя темные пятна.

Что за женский день сегодня, подумал Насыр с отчаянием. И почему с каждой женщиной всё хуже и страшнее? Наверное, так в жизни устроено. Но почему именно сегодня все это началось — вместо салатов и плова в семейном кругу?

Он прыгнул на бруствер и ухватил женщину под мышки. Женщина немедленно обмякла, став неподъемной. Насыр напрягся было, стараясь не обращать внимания на слишком сильный и сладкий запах духов, но тут же одумался. Дерганья и перетаскивания могут разодрать что-нибудь надорванное или еще как-то повредить. Он осторожно разжал руки, так, чтобы женщина не уткнулась носом, вернулся, не чувствуя снега в ботинках, к машине, сдал еще и, покряхтывая, загрузил женщину на переднее сиденье.

Насыр выпрямился, подождал, пока из глаз уйдет белесая пелена, и осмотрелся.

Фиолетовая корма торчала из снежного поля в полусотне метров. Кривой след, продранный

спорткаром, уже затягивало пушистым слоем, как грядку укрывным текстилем.

Насыр сел за руль, подъехал к точке, в которой жирный и кривой тормозной след нырял в помятый брустверь, выскочил из машины и побрел как мог быстро по небрежно взрытой полосе, увязая сперва по колено, потом по бедро.

Водитель спорткара, насколько понял Насыр, впрямь попытался пройти повороты на полной скорости. Это было опасной ошибкой. Еще сильнее водитель ошибся, дав по тормозам, причем дважды. Сперва, когда машину занесло — и в результате спорткар, потеряв управляемость, пошел юзом. Второй удар по тормозам заставил спорткар, подпрыгнув, улететь с трассы в заснеженное поле. И это тоже можно было бы пережить — кабы снег не скрывал то ли валун, то ли прикопанный бетонный блок, в который спорткар и врубился на полном ходу.

В этом водитель был, конечно, уже не виноват. Но кучка мелких оплошностей и ошибок часто складывается в беду, которая сжирает и совсем непричастных.

Насыр не стал изучать препятствие, остановившее спорткар со смертельной бесцеремонностью. Он сразу прогреб к водительской двери и загля-

нул, смахнув снежинки, через стекло, нижняя рамка которого застыла вровень с уровнем сугроба, — спорткар засел с сильным креном на нос и левый борт.

Стекло было как экран древнего телевизора с издыхающей лучевой трубкой: трудно понять, что он показывает, а что отражает. В салоне темно, вокруг смеркается, к тому же мешают отражения снежного поля и собственных плеч, а еще сильнее — белесая пелена утомления, снова растянувшаяся вдоль глаз. Насыр нашарил и рванул ручку двери — та не шелохнулась, — проморгался и снова прильнул к стеклу.

За стеклом светлые, темные и совсем черные пятна и полосы шевельнулись, сложившись в четкую картинку. Матовый чехол, растянутый поверх руля и приборной доски, был подушкой безопасности, поблескивающая округлость на ней — бритым виском водителя, неловко уткнувшегося в подушку свернутым носом и правой скулой, а лениво шевелящиеся змейки на округлости — струйками крови.

— Э, брат, ты жив?! — заорал Насыр, стуча в стекло.

Подушка, висок и краешек век в тени еле заметной глазницы, кажется, затрепетали — возможно,

от стука. И что-то шевельнулось в глубине салона.

Насыр вгляделся и вроде бы разглядел еще одно лицо, странно знакомое, похожее на след снежков в темном холодном углу.

Оно слегка качнулось, вроде как кивая, и голова водителя тоже слегка качнулась, будто соглашаясь, и тут же шевельнулись плохо различимые плечи и шея, обмякая, а кожа на лбу и скуле будто обвисла, а под глазом, наоборот, чуть втянулась и пожухла, как лепестки сорванной позавчера ромашки.

Насыр бывал на похоронах и видел аварии со смертельным исходом. Он знал, что мертвый человек совершенно не похож на живого. Этот стал мертвым.

Мертвых следует помнить, но заботиться надо о живых.

Насыр развернулся, обошел машину с кормы и добрел до пассажирской двери. Она была приоткрыта, снег вокруг изрыт и закапан темным. Пятна неравномерным пунктиром сопровождали широкую неаккуратную борозду, криво уходящую к дороге. Не отвлекайся, напомнил себе Насыр и присел перед щелью, чтобы вытащить пассажира с лицом, похожим на пятна снежков.

Пассажира на переднем сиденье не было.

Насыр попробовал рассмотреть через небольшое стекло, полузанавешенное чем-то изнутри, задний диван, которого в спорткаре может и не быть, ничего не разглядел и, пыхтя от напряжения, попытался просунуться в приоткрытую дверь. Никого там больше не было — только водитель, безнадежно мертвый даже в этой проекции, похожие уже не на чехлы, а на мешки из-под муки подушки безопасности, обвисшие поверх бардачка и боковой стойки, полутьма и неприятный дымно-сладкий запах. Насыр даже не успел насторожиться — понял, что это смесь парфюма, мужского и женского, с перегаром и вонью пиропатронов, которыми выстреливаются подушки безопасности.

— Есть тут кто? — спросил Насыр на всякий случай, просунул руку за спинку кресла и пошарил вслепую.

Рука почему-то опять заледенела, а когда Насыр подался назад, заледенел и затылок. Как будто на него легла ледяная ладонь, длиннющая и узкая. Белая.

Насыр выпрямился так торопливо, что едва устоял на ногах, — а на миг даже показалось, что не устоял он, а с легкостью китайского акробата

ушел в заднее сальто. Насыр качнулся, чтобы утвердиться попрочнее, и глаза резанула белая пустота, распростертая во все стороны, как будто он все это время бродил по фантастическому лабиринту из ледовых экранов, занятых изображением высокой четкости, и вдруг их разом выключили.

Белую пустоту прорезала лишь тонкая нить, уходящая в бесконечность впереди, странная, вроде черная, но иногда вспыхивающая огнем то ли алым, то ли фиолетовым, и почему-то не теряющаяся из виду по мере удаления, а одинаково хорошо различимая и там, где по-хорошему должен находиться горизонт, и здесь, в своем начале. Насыр опустил глаза, чтобы понять, где, собственно, начало нити, и обнаружил, что не дышит. Нить выходила у него из груди, из застежки-молнии, между желтыми зубчиками которой и была зажата. То есть начиналась. Или не начиналась, а прошивала Насыра насквозь.

Насыр осторожно повернулся, чтобы проверить, охнул от острой боли в затылке и неловко повалился в снег.

Он задрал голову, некоторое время соображая, что случилось, поспешно отвернулся от мертвого человека в машине, единственного и никем не со-

провождаемого, потому что другой человек смог доползти до обочины и был подобран Насыром, который теперь валяется в борозде, проделанной этим человеком, и зря теряет драгоценное время. И свое, и, что хуже, отведенное на спасение того человека. Той женщины.

Насыр вскочил и торопливо побрел к машине, почти уверенный, что, пока ловил глюки в снегу, та женщина умерла.

Она не умерла.

Она была неподвижна, бледна и окровавлена, она полулежала в той же неудобной позе, в которой Насыр ее оставил, она еле дышала полуоткрытым ртом, неглубоко и часто, точно всхлипывая. Но была жива.

— Сейчас, — пробормотал Насыр, укладывая ее поудобнее и пристегивая под раздражающее щелканье аварийки. — Сейчас поедем, потерпите.

Женщина была немолодой, но красивой и ухоженной. Это не мешали заметить ни огромная гематома, закрывшая глаз, ни густые потеки крови на лбу, губах и подбородке. Одежда, заляпанная и истерзанная, стоила, наверное, как машина Насыра. Не говоря уж о кольцах, цепочках и прочих финтифлюшках, массивных и блестящих, которыми женщина была увешана

на манер елки.

В гости торопились, праздновать, с сожалением подумал Насыр, обегая машину и усаживаясь за руль. Наряжались, прихорашивались, хлопнули на дорожку для настроения — от женщины тоже попахивало, — подарки в багажник, небось, загрузили, притопили, в меня чуть не врезались, и не только в меня, наверное, — и что? В гости не приедут, муж погиб, жена, если выживет, то для того, чтобы горевать месяцами, если не годами. А родне каково придется? И тем, к кому в гости мчались? Испортили праздник.

Так, что за ерунда в башку лезет, рассердился на себя Насыр. Главное, чтобы жива осталась, остальное пережить можно. Все можно пережить, кроме собственной смерти.

— Едем уже, сейчас, — успокоил он женщину, вызвал в телефоне Камолу, смахнул дворниками порошу со стекла, посмотрел в зеркала, трогаясь, и обмер, краем глаза заметив позади овал вроде следа от снежков.

Насыр моргнул. Нет, не след снежков это был, а лицо бледной девушки в пальто. Она так и сидела сзади, терпеливо и неподвижно. А Насыр про нее совершенно забыл.

— Простите, тут видите же… Сейчас… Камола,

салом!

Он торопливо объяснил ситуацию и обещал прибыть, Бог даст, в течение двадцати минут, если не случится пробок. Точнее сказать было невозможно: навигатор по-прежнему открывался через раз и исходил из того, что находится то ли на Новой Земле, то ли в Антарктиде, — и Насыр, так и не сподобившийся вытряхнуть снег из ботинок, отчасти его понимал.

Белое лицо в зеркале шевельнулось, и женщина справа задышала чуть чаще и надрывней.

То есть они обе тут сидели, пока Насыр нарезал вокруг спорткара, одна чуть живая, другая как неживая — и… что? Просто сидели, и всё? Жуть.

— Постараюсь успеть, скажи, чтобы тоже успели, — завершил разговор Насыр, не отвлекаясь на отбой. Камола сама сбросит, не первый год за таксистом замужем.

Он повел плечами, чтобы снять напряжение, сцепившее его с рулем слишком жесткой рамкой, притопил до предельно возможных ста десяти и неторопливо заговорил, сам не совсем понимая, по-русски или по-узбекски — и с кем именно:

— Вы уж простите, что из-за меня в такое вляпались. Я и сам не рад, планы совсем другие были — тем более перед праздниками, столько всего

успеть надо. Но вы не волнуйтесь, мы успеем, все будет нормально. Ну как нормально: все уже ненормально, но это надо пережить. И жить дальше. Чем дальше от плохого, тем больше мы сможем исправить и сделать из плохого хорошее. От совсем плохого мы уже отъехали, а к тем, кто исправит, всё ближе, вы дышите только, ладно? А, забыл.

Насыр вызвал диспетчера — по телефону, связь через приложение так и не наладилась, — объяснил ситуацию, только тут убедившись, что до этого правда выступал на узбекском, потому что Людмила Сергеевна строго велела говорить по-человечески. Насыр не обиделся, он помнил, что она не со зла, и все они не со зла, он давно привык не обижаться, а теперь и времени на это нет. Насыр попросил вызвать к месту аварии полицию — ну и скорую.

— Учи ученую, — проворчала Людмила Сергеевна. — Вызову, всех вызову. Хотя скорая там не пришей рукав, ты же сам сказал.

— А вдруг, — ответил Насыр и сам удивился.

Видел же, насколько холодный уже водитель, а все еще думает, что может быть какое-то вдруг.

— «Говорят, под Новый год что ни пожелается», — продекламировала Людмила Сергеевна. —

Такой большой, а в сказки веришь. Знаешь такой анекдот, Ходжаев? Ничего ты не знаешь. Заказы-то еще принимаешь сегодня, звонить тебе, если что?

— Позвоню, как понятно будет, — сказал Насыр. — На всякий случай с наступающим, Людмила Сергеевна.

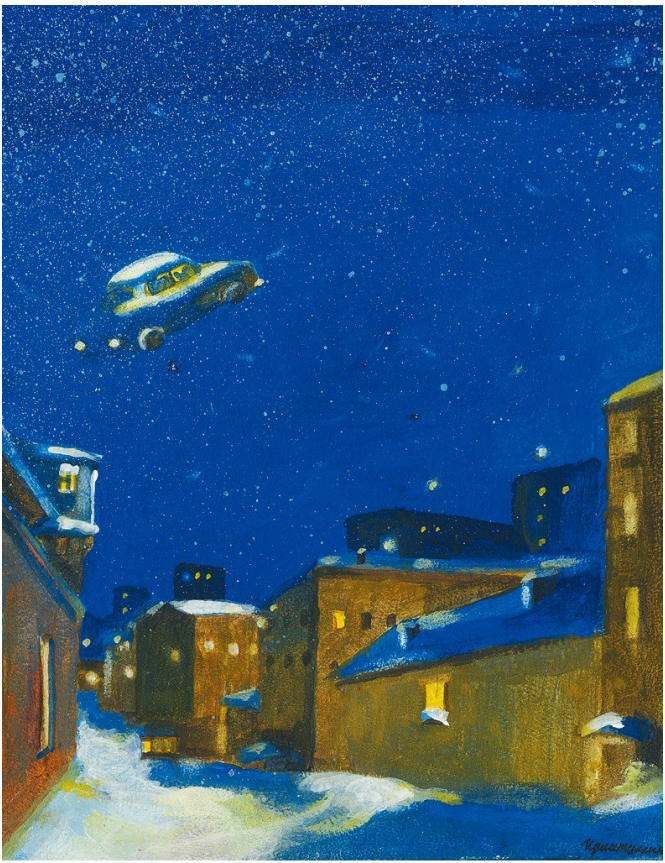
Она уже отключилась.

Насыр объяснил извиняющимся тоном:

— Она тетка хорошая, добрая, но стесняется этого, что ли. Многие стесняются. Странно: по идее, наоборот, следует грубости своей стесняться, злости или глупости. Всё у нас наоборот. Помрет человек — сразу все вспоминают его и жалеют, что помер, знали бы, ух как помогли. А не помер — не вспоминают, не жалеют и не помогают, сколько бы он ни прожил. Ну, так принято. Живые, считается, неприятные какие-то, напрягают вечно, подводят, ерунду болтают и делают. Еще и непредсказуемые: никогда не знаешь, что любой человек в следующий миг натворит. А покойник не подведет.

Судя по ловкости речи, Насыр снова незаметно для себя перешел на узбекский. Он и по-русски говорил чисто и без акцента, но за сочинения его особенно хвалила именно учительница уз-

бекского.



— Иногда прямо видно, как заслуженного какого-нибудь дядьку или тетку терпят из последних сил, не замечают, по башке тюкают и — как это в стишке было, у Пушкина, да? — глядеть и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Правильно я запомнил? Сто лет не вспоминал, надо же, в школе учили. Вот когда черт возьмет, а лучше не черт, вот тогда уже мы будем рыдать и рассказывать, какой это был молодец, прекрасный работник, отличный семьянин и святой человек. А до того не получается.

Насыр вздохнул и с досадой добавил:

— А надо. Мы же живые люди, нам положено о живых заботиться, иначе все неправильно. Это как во дворе когда играешь: пока команду себе не сколотил, а лучше две, чтобы интереснее, чтобы было с кем играть, пока на «матки-матки, чей допрос?» не разделился — у вас ведь так говорили? — пока не договорился по правилам играть, и чтобы никому по ноге не попали и нос не разбили, и чтобы без драк, и чтобы все были здоровыми и домой пришли такими, чтоб мамка завтра тоже отпустила, а не заперла на два дня, а тогда команда будет неполной — вот пока это все не сочинишь и не начнешь вместе со всеми соблюдать и обеспечивать, будешь, как дурак,

ходить один, тосковать и репей пинать. Мы еще учили «Горе одному, один не воин», но «не воин» это фигня. Одному просто неинтересно. А жизнь — она ведь для того, чтобы интересно было.

Рядом екнуло, как будто одна из пассажирок чем-то подавилась. Насыр бросил тревожный взгляд на раненую и в зеркальце, но ничего пугающего не увидел. Девушка сзади смотрела перед собой, будто пыталась прожечь макушку откинувшейся на подголовник женщины, а та все так же мелко вдыхала и выдыхала приоткрытым ртом.

— Потерпите, немного уже осталось, — попросил Насыр. — Там уже все готово, там как раз все работают только для того, чтобы люди живыми оставались. И даже деньги только за это и получают. Забавно, да? Святое дело делаешь, а тебе еще и платят за это. Везде бы так. Чтобы за жизни платили, а не за убийства, вредности всякие и отнимание времени, которое можно потратить на хорошие дела.

Насыр сбросил скорость перед знаком въезда в город: всё, почти доехали. Женщина рядом задышала глубже и ровнее, а девушка сзади, кажется, раздраженно вздохнула. Насыр покосился в зеркало — нет, вроде так и пялится в подголовник

перед собой.

Что поделаешь, девочка. Это такое обременение. Пока беспилотники используются для вреда, а не для пользы, такси обременено таксистами. А таксисты часто болтливы. Не только от скуки и в силу особого психотипа, но и потому, что это часть работы. Пассажир уверен, что предпочитает любому разговору или звуковому фону тишину, но это неправда. На самом деле человеку не очень комфортно садиться в машину к незнакомцу — такова человеческая природа, историческая истина и социальная выучка. А вот если незнакомец комфортно журчит на неопасные темы, чужое замкнутое пространство кажется безопасным.

Опытный таксист знает простые правила. Нельзя говорить про себя, это утомляет. Нельзя говорить про пассажира, это возмущает. Надо говорить на знакомые отвлеченные темы.

Даже раздраженный пассажир готов терпеть рассуждения о погоде, консультации по поводу машин, маршрутов и дорог, а особенно байки про знаменитостей, которых подвозил таксист. А вот личные темы к дозволенным не относятся. Вечный запев «вообще-то я таксую только в свободное время, а так я инвестиционный бан-

кир, кинорежиссер и немножко эндокринолог» — последняя граница, пересекать которую не следует. Лучше к ней и не подходить. Какое дело пассажиру до того, что Насыр вообще-то авиационный инженер, дочь делает крафтовое мыло, а сын вчера получил второй юношеский?

Личное, а тем более семейное нельзя выносить из семьи. Это стыдно и даже вредно: пассажиры такие разговоры не любят и могут занизить оценку поездки. То есть сейчас не могут, конечно, потому что это неофициальная поездка, к тому же на халяву, да и приложение не работает. Но внутри себя, в голове, они все равно будут недовольны. Не стоит плодить неудовольствие, тем более в чужой голове.

Чужим головам было не до того: задняя, мутным светлым пятном маячившая в зеркале, медленно поплыла к передней, но вдруг застыла, глядя вроде как не на нее уже, а то на Насыра, то в окошко, пока черный палец помечал что-то на черном экранчике. Возможно, это Насыру только казалось, потому что он не мог отвлечься ни от завешенной снежной кисеей дороги, ни от того, о чем не говорил никогда и сейчас тоже категорически не собирался — но почему-то говорил:

— Мы же люди, и вокруг тоже люди, и все при-

мерно одинаковые. Нас кусают — мы кусаем, нам улыбаются — мы улыбаемся. Чтобы улыбаться, зарплату ведь получать не надо. И чтобы заботиться — тоже. Тем более о себе заботиться. Это же большое дело: избавить близких от переживаний по моему поводу. Самому не хворать и тем более не умирать. Не стоять на морозе в пальтишке на босо тело. Не садиться по пьяни за руль. Не гнать по скользкому и извилистому. Если же заболел или поломался, надо выздороветь и починиться. По двум причинам. Чтобы не расстраивать никого. И чтобы радовать кого-то. У каждого человека есть кто-то, кого надо радовать. А если нет, то надо срочно завести, а то глупо как-то все и бессмысленно.

Тема была опасной, но Насыр не мог остановиться, как на гололеде. На гололеде тормозить и вертеть рулем нельзя: если влетел, пробуй проскочить, как уж получится.

— У меня вот вокруг таких, кого радовать надо, полно. Жизнь тем и отличается от смерти, что ты живой и вокруг все живые. А если они еще родные и близкие — вообще повезло, считай. Тем более счастливые родные и близкие. А с чего им быть счастливыми? Потому что ты постарался. Вот я и стараюсь.

Дальше он рассказывать тем более не собирался, но рассказал. Как не рад мотаться мимо кассы предновогодним вечером, пока в багажнике все стынет. Как рад тому, что из-за поездки в Осинки и отсутствия там заказов забежал на местный рынок и урвал за щадящие деньги беспроводные наушники с кошачьими ушками, о которых давно просила дочь, и сувенирчики сыну и жене, которые не просили ни о чем и никогда. А еще зигирное масло, о котором давно тосковала Анор, мать Миржалола. Миржалол вывез ее сюда, чтобы была поближе, а теперь он сам подальше, и когда вернется, если вернется вообще, никто не знает, и Анор тоскует, а Насыр подтаскивает ей продукты и всякое по мелочи, потому что деньги-то ей перечисляют, пусть и с задержкой, но она и тратить опасается, и из дому выходить, и вообще боязливая в чужом-то совершенно месте, а вот зигирного масла для плова нигде нет, а теперь есть, Насыр и приправ для плова купил самых разных, и завезет ей, и перед детьми выступит Дедом Морозом таким. Дедов Морозов у нас не водится, Новый год не совсем наш праздник, мы особо и не отмечаем, но детям прикольно — поэтому даже елку в этом году поставили, и дети ждут, пока я приеду, а я, похоже, опоздаю.

Они у меня понимающие, конечно, но я и так всю дорогу на вызовах, а если еще Новый год профукаю, вообще неудобно получится. Новый год — семейный праздник, все говорят, а если семья за столом неполная, никакая елка не утешит. А детям нашим и так трудно, понимаете?

Да что вы понимаете, вдруг подумал Насыр тоскливо. Хоть бы слово сказала.

Он посмотрел в зеркало, снова увидел след снежков вместо лица, досадливо поморщился и перевел взгляд на дорогу, но дорога задернулась косыми черточками, ослепительно белыми в свете фар и серыми вокруг, как дома, грозно наливающиеся белизной, и как небо, только что низкое и темное, а теперь разом вывернувшееся ослепительной изнанкой, которая раздернулась от края до края, от верха до низа, от тупого давления на глаза до невыносимо тянущей боли в затылке и ниже, и нет в этой белизне ни смысла, ни пощады, только морозная тоска и сожаление по поводу того, что все-таки не успел, чуть-чуть не успел, минутку всего, пару часов, месяц, несколько лет, не успел довезти тетку, высадить девушку, развезти все, что должен, успеть к столу, загадать желание, дождаться исполнения, погулять на свадьбе дочери, а потом сына, увидеть внуков,

починить направляющие у ящика кухонного гарнитура, предупредить, что завтра, кажется, на смену не выйдет, ничего, никуда, совсем.

Насыр, щурясь из последних сил, чтобы проскочить финишную дистанцию в этой белизне, как во внезапно упавшей мгле, переключил возмущенно скрежетнувшую коробку на вторую скорость, чуть подобрал правую ногу, уберегая педаль газа, и совсем, кажется, невнятно добавил, как бы оправдываясь, непонятно для кого и с какой целью:

— Еще продукты бабе Насте завезти надо, я ее мужа в больницу возил, хороший дед был, веселый, все время детям моим конфеты покупал, а потом умер, а баба Настя осталась. Она невеселая совсем и меня не слишком любит, чертом косоглазым называет, но жрать-то ей надо, а, кроме меня, у нее только племянник, его она не любит еще сильнее. Я ей в Осинках колбасы нормальной купил, творог фермерский и сметану, чай и тортик замороженный без калорий. У всех ведь праздник — а у нее не будет, что ли? Так нельзя. Каждый человек имеет право на праздник. Всё, приехали.

Он аккуратно въехал в ворота, створ которых, против обыкновения, не был перекрыт шлагбау-

мом, и аккуратно затормозил у пандуса, возле которого уже пританцовывала Камола в накинутой на плечи куртке. Завидев машину мужа, она метнулась к дверям больницы и вывела оттуда двух санитаров с каталкой, рванувших по пандусу в атаку. К моменту, когда каталка развернулась у борта, Насыр уже проморгался, отдышался, отстегнул женщину, выскочил, обежал машину и распахнул дверь.

Санитары ловко и быстро переложили женщину на каталку и с лязгом устремились в здание, невнимательно слушая пояснения Камолы. Насыр остался на месте, глядя им вслед и растирая затылок, онемение от которого неприятно расползлось на челюсти.

Камола выбежала обратно почти сразу, обняла Насыра и сказала ему в грудь:

— Сразу на операцию увезли. Сказали, молодец, вовремя успел.

— Ну прям, скажут они так. Врешь ты все.

— Молодец-молодец, — отрезала Камола и потрепала его редеющие волосы, а Насыр, чтобы не сдаваться онемению лица, сделал вид, что сейчас укусит. — Отработал на сегодня, домой?

— Почти. Вот это только развезу, — он махнул рукой в сторону заднего сиденья.

— Но новых заказов-то брать не будешь? Хватит уже на сегодня. И так измотался, бледный, как привидение.

Насыр в глазах Камолы всегда был измотанным, бледным, непоевшим и коварно все это скрывающим, а потому требующим немедленного ухода с кормлением, выгулом и обласкиванием. Дети, естественно, тоже.

— Да каких новых, не заработало же… — начал Насыр и замолчал, уставившись за плечо Камолы.

Та обернулась, но не увидела ничего интересного, кроме следа снежков, которыми кто-то кучно расстрелял одну из опор козырька над входом. Мальчишки, наверное, баловались. Странно, что охрана не заметила и не отогнала.

— Вот и хорошо, что новых нет, — отрезала Камола. — Ты чего высматриваешь?

Насыр, вглядывавшийся в темный салон собственной машины, спохватился:

— А, точно, в багажнике же. Я Амине наушники купил, передай, если первой вернешься.

— Вот еще. Сам приедешь и вручишь, как следует. Ей от тебя радости больше. А Абдулазиз без подарка пока?

— Ну как. Кружку-мешалку купил, с кнопкой

такая. Сахар, сливки размешивать и так далее.

— Самое то лентяю этому. Давай развози все, что надо, и домой уже. Меня тоже обещали отпустить пораньше, нормальный стол приготовить успею.

— Значит, лопнем все-таки, — отметил Насыр, поцеловал жену и толкнул ее к дверям. — Дубак, а ты неодетая. Марш внутрь.

Спохватился и крикнул уже в спину:

— Отзвонись потом, как там операция!

Сев в действительно пустую машину, Насыр проверил, всё ли на месте. Девушка могла ведь и трофей какой-нибудь захватить. Недостачи не обнаружилось, и Насыру немедленно стало стыдно. Он на всякий случай пояснил себе, что всерьез ничего такого и не подозревал. Просто странная девушка очень, вела себя странно и исчезла странно. С другой стороны, тихая, не буянила, да и ногами больше не махала. В любом случае, в городе чокнутых много, не пропадет и, главное, не замерзнет. Вот и забудем про нее.

И Насыр забыл про нее — на долгий час, в течение которого он отлично все успел. Ну почти все.

Первым делом он закинул продукты бабе Насте и даже успел поздравить ее с наступающим, пока она не захлопнула дверь, — а потом помахал

ей, подсматривающей в окно, и она сердито задернула занавеску, чтобы тут же проковылять к другому краю окна и подглядывать оттуда, а потом украдкой перекрестить Насыра на дорожку. Он завез масло и приправы Анор и даже попил с нею чаю, пообещав забежать в каникулы — и зарубив себе не забыть об этом. Он позвонил Людмиле Сергеевне и сказал, что на сегодня выбыл, но завтра готов с пяти. Он помог выдернуть из сугроба застрявшую микролитражку с растерянной до слез барышней за рулем, а потом, махнув рукой и ей, сбежал, потому что барышня выскочила из машины с намерением как-нибудь отблагодарить, как будто помощь оказывают ради благодарности.

Тут час, на который Насыр забыл странную девушку, и истек.

Уже направляясь в сторону дома, Насыр вспомнил — не про девушку, конечно, а про раненую женщину. Дома Камола, конечно, и так все расскажет, но пока еще они с Насыром встретятся, а позвонить можно прямо сейчас.

Оказалось, что нельзя.

Экран отказывался разблокироваться пальцем, который Насыр несколько раз обтер о штаны, пароль сработал лишь со второй попытки, а в

итоге телефон торжествующе продемонстрировал отсутствие сигнала.

«Ты еще будешь мне тут», — пробормотал Насыр, вертя телефон над головой, но сигнал так и не появился, а рука налилась прохладной слабостью, через плечо натекшей в шею и затылок. Насыр, с трудом удержав, не брякнул, а бережно уложил кисть на колено и уставился на него через посверкивающую белизну, вспоминая, чего хотел-то.

— Позвонить хотел, — сказала девушка. — Жива она, выкарабкалась. Успокойся. Ты правда молодец, зараза такая.

Насыр повернул голову. Это оказалось непросто: шея не то чтобы не слушалась, но как будто не понимала, какую мелкую мышцу когда сокращать для простейшего движения.

Девушка говорила с пассажирского сиденья, спинка которого еще была откинута так, как, по мнению Насыра, удобнее раненой женщине. Девушке, сидевшей с прямой спиной и лицом к Насыру, удобно быть не должно было — но явно было. Даже ноги, длиннющие, вспомнил вдруг Насыр, не упирались в центральную консоль или рычаг переключения скоростей.

Я обещал довезти до места, где ей удобно, поду-

мал Насыр вяло, но не довез. А она говорила: еще рано. Или мне только казалось?

— Не казалось, — подтвердила девушка. — Тогда рано было, сейчас время пришло. А ты, паразит, ушел. Колобок. Вечно с вами так, добрячками веселыми.

Никуда я не ушел, тут сижу, устал только, подумал Насыр. Передохну́ — и поедем. Отвезу куда хочешь, раз обещал. Заказов сегодня все равно больше не будет, а от тебя хоть толку и нет, убытков тоже чуть — весу в тебе шиш да маленько.

— Так меня давно не оскорбляли, — сказала девушка, улыбаясь, и от этой улыбки у Насыра заледенело сердце, месторасположение которого он теперь знал твердо и до боли — вот тут оно висит и не бьется. — Куда я хочу… Там тебе не понравится. А сам-то ты, обещалкин, куда хочешь?

Домой, подумал Насыр, недоумевая, куда еще-то. Только там радость.

— Странные у тебя представления о радости, домовенок. От красоты отворачиваешься, неожиданных удовольствий пугаешься, поесть-попить-повеселиться не рвешься. Весь день в тесном салоне, ночью в тесной квартирке. Об этом ли ты мечтал?

Я много о чем мечтал, подумал Насыр. Быть

красивым и сильным мечтал. Денег до фига заработать. Путешествовать. В космос слетать, за «Пахтакор» сыграть, начальником стать, в кино сняться, еду из кино попробовать, со спорткарами наперегонки погонять, красавиц на руках носить. Кое-что сбылось, даже сегодня вот. Кое-что не сбудется никогда. Думаешь, мне жалко? Нет. Потому что это чужая жизнь. Красивая, приятная, но не моя. Как чужие башмаки, самые красивые и дорогие: в лучшем случае неудобно будет, а то и сотру всё нафиг. С чужими удовольствиями так же.

— Невесело это как-то, башмачник.

Я раньше тоже думал, что главное — веселье, подумал Насыр. Теперь понял, что радость важнее. Бывает веселье без радости, бывает радость без веселья. Первое не радует, второе не веселит, зато дает смысл. Человек — он ведь для счастья живет.

— Ты не знаешь даже, для чего сам живешь, весельчак. Откуда тебе про каждого человека знать?

Для счастья, упрямо подумал Насыр. У нас это лучше всего получается. И разнообразней всего. Значит, для этого мы и созданы. Так и сказано, между прочим.

— И в чем твое счастье, забавное созданье?

В том, чтобы жить, подумал Насыр. Мирно, спокойно и радостно.

— А для этого, жилец, надо обеспечивать мир, хранить покой и дарить радость. Ты это умеешь?

Я делаю все, что могу, подумал Насыр. Большего не могу. Но все, что смогу, буду делать всегда.

— Если жив будешь. «В том, чтобы жить» — ты с этого очень верно начал, умник. А жизни тебе было отпущено до сегодняшнего дня.

Да я уже понял, подумал Насыр.

— Что ты понял, мудрила? — воскликнула девушка гневно. — Что я зря час на все вот это потратила, проиграла два к одному, еще и истосковалась вся? Так все просто и спокойно предопределено было: одна авария, три трупа, все быстро и удобно, вам безболезненная смерть, мне удовольствие и сытость. Нет, надо было устроить эти качели с аккуратным вождением, гражданским самосознанием и гуманистическим поведением!

Надо было, значит, подумал Насыр.

— Поостри мне, — буркнула девушка. — Скажи спасибо, что в ближайший час мне полный стол насыплется, а то я бы тебе, фокуснику, так просто эти трюки не спустила бы.

Не скажу, подумал Насыр. Мне жаль. Не надо

полный стол.

— Это уж не тебе решать, жалейка, — отрезала девушка. — Нам всем на радость.

Я устал, подумал Насыр. Сколько можно уже. Делай, что должна, или отпусти уже. Меня семья ждет.

— Ты умрешь, — сказала девушка.

Плохо, подумал Насыр.

— Вот эта штука, вы ее называете аневризмой, — сказала девушка, коснувшись раскаленным пальцем ледяного затылка Насыра, а затылок, вопреки ожиданию, не зашипел. — Она сегодня должна была лопнуть. Перед аварией, при аварии, при попытке вытащить Мокеева из машины, на въезде в больничный двор — она должна была лопнуть, без вариантов.

Девушка сунула к носу Насыра экран своего телефона — вернее, угольно-черную прямоугольную дыру без дна, в которой что-то двигалось бешено, непонятно и жутко.

Убери, подумал Насыр. Не для моих глаз это.

— Ну да, — согласилась девушка, так же непонятно и жутко шевеля возникшими на месте дыры пальцами. — Я тебя вот так брала, тюльпанчик, рукой, вот этой. И отпускала, потому что ты со своим долбаным долгом как-то из руки

выскальзывал — этой вот, моей! — и жил дальше. Как — не знаю. Но теперь у тебя вместо аневризмы рубец.

От такой рубец, подумал Насыр.

— Окей, бумер, — согласилась девушка. — От него ты и умрешь. Но не сегодня. И не завтра. И даже… Сказать, когда?

Не надо, подумал Насыр. Пожалуйста.

— Пожалуйста, — не то повторила, не то согласилась девушка. — Это тебе, скромняга, мой подарок к Новому году, хоть ты и не празднуешь. Живи, не зная сколько.

Спасибо, подумал Насыр и очнулся от скрипа.

Снегопад утих, так что дворники, изредка просыпавшиеся к жизни, скребли по почти чистому стеклу с возмущенным визгом. Припаркованная машина щелкала аварийкой в кармане совершенно пустой темной улицы. Чего я тут стою-то, подумал Насыр и осторожно пошевелил головой, в которой мелькнул отзвук недавней боли. Боли не было, было онемение в отсиженном бедре — похоже, Насыр просто дрых в неудобной позе, успев при первых признаках засыпания приткнуться в удобном месте. Была у него такая сверхспособность, единственная, к сожалению. Дрых он обычно без сновидений, но на сей раз

ему, кажется, что-то приснилось. Яркое, необычное и страшноватое.

Насыр попробовал вспомнить сон, но тот распадался на бессмысленные цветные лоскуты, оставляя чувство легкого сожаления и почему-то огромного облегчения.

Ну и ладно, подумал Насыр, выключил дворники, аварийку и поехал домой.

Его там очень ждали.

Алексей Сальников

Свет звезд

— **П**е-е-еть птицы переста-а-али, све-ет звезд коснулся крыс! — негромко, но очень красиво тянет девичий голос, и Чеев с удивлением оборачивается и на неожиданное окончание строки в известной песне, и на то, как симпатично все это исполнено.

Не он один смотрит на вокалистку — многие в автобусе, что везет их до самолета после семичасовой задержки рейса, косятся: кто-то недовольно, кто-то устало, кто-то все же слегка улыбается.

— Даша, ты задолбала своими крысами, — говорит одной школьнице другая. — Первый раз это было смешно, второй, но сколько уже можно?

Ту девочку, что упрекает певицу, поддерживают еще несколько подружек.

Чеев ловит себя на том, что наблюдает за ними с усмешкой умудренного жизнью взрослого человека, хотя сам, двадцатиоднолетний, вряд ли старше их больше, чем лет на пять. Но недавнее расставание, командировки, съемная квартира, работа в местной газете, где вокруг одни сплошные старички с болячками, разводами, детьми

и внуками, — и вот уже у него чувство, будто он сам разве что не рожал.

Снаружи автобуса темнота, и не зима, а прямо зимища, всё в снегу, внутри — духота от печек и тесноты, да еще и коллега накатил в ожидании, стоит рядом, и Чееву плохо в данный момент, но хорошо в перспективе, потому как места у них в разных частях салона. Автобус движется медленно-медленно и долго-долго. Один из пассажиров, примечательный тем, что поминутно раздраженно вздыхает, будто только он один из всех настрадался, а остальным такие приключения все равно что аттракцион, не выдерживает и предсказуемо шутит. Причем, еще до того как произнести остроту, заранее озирается, ища моральной поддержки:

— Походу, прямо так до Москвы и доедем! А?

Никто его не поддерживает, и нервный пассажир недовольно ерзает, отчего создается впечатление, будто он заперт не только внутри транспорта, а еще тело для него все равно что застенки, пассажиру тесно внутри себя и одиноко. Чееву тоже невесело, но все же, очевидно, не до такой степени. Его отчасти интересуют люди вокруг: в полет затесались парочки влюбленных, жмущиеся друг к другу, тогда как все осталь-

ные пытаются держаться все же на расстоянии, насколько это возможно. Еще есть несколько мужчин в расстегнутых пальто и деловых костюмах, они не прекращают обсуждать что-то на тему девелопмента, насчет платежки, которая должна пройти, в их речи довольно часто слышится слово «кластер», а летят мужчины в экономе.

Беседу они не прекращают, даже когда выходят навстречу потоку воздуха из раскрывшихся дверей, который лишь сначала кажется по-весеннему теплым, но стоит подождать своей очереди на трап, и Чеев сначала надевает вязаную шапочку, а чуть погодя и вовсе натягивает ее на уши. Люди поднимаются в самолет неторопливо, нехотя, можно даже решить, что обреченно. Чееву это не нравится. Он завидует техникам, обслуживающим самолет и следящим за посадкой, ведь после смены они отправятся домой по земле, когда, возможно, Чеев еще будет болтаться в воздухе. Можно решить, что персонал аэродрома читает мысли Чеева, он ловит на себе веселые взгляды людей в оранжевых жилетах. Общее выражение их лиц такое, словно они приготовили какой-то розыгрыш для всех на борту, и осталось только дождаться взлета, чтобы обнаружить, в чем он

заключается.

Чеева сюрприз ждет сразу же, как только он добирается до своего ряда кресел: багажная полка полностью забита пуховиками и чемоданами, а для его рюкзака нет места. Хорошо, что фотоаппарат он оставил в багаже у коллеги. Извинившись, Чеев протискивается к иллюминатору, пристраивает рюкзак под бочок, успевает скривиться, когда спинка кресла спереди откидывается прямо ему в лицо и наваливается ему на колени под тяжестью крупного пассажира, но Чеев сразу же выключается.

Впрочем, его сну устраивают перерывы еще на земле. Сначала громкий инструктаж по безопасности, затем уведомление о том, что самолет еще ждет противообледенительная подготовка, тыканье пальцем в плечо с вопросом, пристегнут Чеев или нет, — все это то и дело выдергивает его из небытия. Напоследок еще и бабушка успевает позвонить в седьмой раз за ночь, и Чеев не выдерживает — сварливо отвечает на вопрос: «Как дела?».

— Да хреново дела, бабуля, блин. Зря ты свечку ставила. Ты ее точно за здравие ставила, а не за упокой? Может быть, ты ее куда-нибудь не туда воткнула, не знаю, но тут трешак.

Бабушка не остается в долгу и тоже злится:

— Придурок, ты думай, что ты несешь. У меня сердце и так не в порядке. Мне теперь совсем не спать, пока ты не вернешься? Тебя в эту поездку не на аркане тащили, ты сам вызвался, хотя тебе говорили, что не надо никуда летать в такое время беспокойное.

Чеев закатывает глаза и обреченно выдыхает, потому что бабушка права. Сам полез, сам десять раз пожалел, хотя его и предупреждали, что незачем лететь, если есть возможность этого не делать, но Чееву почему-то захотелось — не жить, не быть — оказаться подальше от родного города, хотя бы на пару дней, где предновогоднее убранство наводило на дурацкие воспоминания о том, как хорошо было всего двенадцать месяцев назад, в эти же дни, тусить в компании своих друзей или знакомых подружки или, что лучше всего, только вдвоем зависать дома по выходным. Осторожно встать пораньше, чтобы не разбудить девушку, еще даже не умывшись, не причесавшись, накинуть куртку и сбегать до ближайшей кофейни, взять пару стаканов чего-нибудь с молоком и сиропом, несколько маффинов или овсяных печенюшек, спешить обратно… Ой, лучше об этом даже не вспоминать,

чтобы не чувствовать себя идиотом.

Для родителей все его переживания были пустяком. Они говорили, что такого у Чеева еще будет полно, если он не станет зацикливаться на произошедшем расставании. Бабушка подошла к его горю серьезнее, но легче от ее помощи не стало. Она и до этого ходила в церковь не только по праздникам, а по любому поводу неизвестно зачем. Но тут ее походы стали целенаправленными, она будто собралась доказать внуку, что способна выпросить у Господа Бога личное благополучие внука.

Папа, скорее всего временно обойденный материнской молитвой, уронил себе гантель на ногу, и ожидалось, что новогодние праздники он проведет в гипсе. Бабушка так вкладывалась во внука, что отец не дождался от нее сочувствия, а удостоился лишь скупого комментария: «Идиотина косорукая, всю жизнь такой и был, ладно хоть не на башку себе эту хрень опрокинул, и то спасибо».

Но ее молитвы что-то не сильно помогали и Чееву, но они и не обязаны были вроде бы и помогать атеисту, каким Чеев себя считал, просто постоянное упоминание бабушкой ее духовного труда слегка подбешивало, и оставалось лишь

вежливо молчать, когда она в очередной раз заговаривала про свечки, иконы и внука. Чеев говорит, что начинается подготовка к взлету, потому что так оно и есть, кладет трубку, переводит телефон в авиарежим, включает аудиокнигу и отрубается уже до посадки в Москве.

Там приключения продолжаются. Их с коллегой командировка — наполовину авантюра. Какой-то хмырь из их региона должен получить премию, то ли театральную, то ли музыкальную. У Чеева и его коллеги есть приглашение на данное мероприятие, но особо их в столице никто не ждет. Гостиница согласована через друга главреда, да и то один номер на двоих. Чеев никогда не жил с чужими людьми в одной комнате, не знает, каково это, и ему заранее грустно от факта совместного проживания, а особенно от общего с коллегой туалета и душа.

А коллега-корреспондент, наоборот, бодр и весел, смахивает на собаку, которую отпустили с поводка. Первым делом в аэропорту он потрошит свой багаж и возвращает Чееву редакционный фотоаппарат в сумке, где, помимо самого фотоаппарата, валяется всякая байда вроде пачки сигарет, забытой фотографом, вовремя ушедшим в отпуск, влажные салфетки, бутылек с

жидкостью для вейпа, из-за чего сумка пахнет карамелью и лимоном. Коллега вытаскивает Чеева из аэропорта на улицу, приглашающе машет рукой, и Чеев оказывается возле урны, вокруг которой курят люди. Коллега тоже закуривает и смотрит в телефон, пока Чеев обзванивает родных и сообщает, что долетел благополучно. «Ну, слава богу!» — не сговариваясь, говорят бабушка и папа с мамой. «Посмотрим», — думает Чеев, оценивая подозрительно бодрое поведение коллеги.

Начинает светать, коллега увлекает за собой Чеева к толпе других людей, уже не курящих, а ожидающих автобуса. Когда автобус приходит, они залезают внутрь, расплачиваются. Как перед посадкой в самолет, долго и неторопливо едут по окраинам — теперь Москвы, что, оттаивая после снегопада, вся какая-то серенькая и скучная. Чееву неизвестно, правда, чего он, собственно, ожидал.

Затем они спускаются в метро. Коллега молчалив и рассеян, его занимает переписка, он ведет ее, неуклюже тыча большим пальцем в экран телефона, и при этом коварно улыбается неизвестно чему, но предчувствия у Чеева нехорошие. Они и до гостиницы плетутся, потому что коллега получает очередной сигнал пришедшего сооб-

щения, замедляет шаг и отвечает на ходу. Ничем хорошим такое общение старших товарищей не заканчивается, даже когда они путешествуют по области. Вечно влекут стариков алкогольные и амурные приключения, воскресшая любовь и давняя дружба обнаруживаются ими в разных частях региона, окормляемого газетой.

В гостинице заселение с двух, сейчас едва десять утра — не так уж много, если подумать, осталось ждать, но коллега доверительно сообщает:

— Ты заезжай, вещи занеси, я позже подтянусь, мне тут надо… — Вид у него, будто он отпрашивается в туалет с урока.

Не дожидаясь ответа, коллега растворяется в заново начавшемся снегопаде, оставив Чеева куковать в лобби среди мрамора, где еще не убраны натоптанные ими следы. Повсюду тут бархат, люстры театрального вида, косящиеся охранники. Секьюрити то и дело бросают на Чеева токсичные взгляды, как бы говорящие: «Ну и что ты тут потерял, болезный?» — на что Чеев отвечает им выражением лица, которое подразумевает ответ: «А хрена ли мне еще остается?»

Вскоре Чеев все же обживается рядом с вещами коллеги, находит розетку, ставит смартфон на зарядку, и уже не сильно становится тоскливо

за просмотром всякой дури в интернете. Между делом выясняет, зачем он сюда приехал, то есть разыскивает в сети фигуранта своей будущей фотосъемки, уточняет, чем тот на самом деле заслужил внимание редакции их газеты. Ведь по герою грядущего материала и не скажешь, что он чем-то замечателен: с виду обычный такой алкоголик. А оказывается — театральный деятель, член нескольких творческих союзов, кто бы мог подумать? Какие-то постановки у него там, одна краше другой. Чеев раскапывает в нескольких видеохостингах фрагменты из этих спектаклей, но здраво оценить качество декораций и игру актеров мешает качество съемки, посторонние шумы и что все это отрывочно, едва ли каждый ролик со спектаклем длиной больше двух минут. Но в зале смеются, значит, вроде норм. Смотрит на карте, далеко ли от гостиницы будет происходить праздник. Близко — пара километров почти по прямой. В театре, название которого знакомо, но и только.

Его сидение время от времени прерывают родители и бабушка, осведомляются, как у Чеева дела, не обижают ли его там. Три раза Чеев рассказывает историю скрывшегося в каменных джунглях коллеги.

— Так чего ты хотел? Ты же с Вадиком поехал. Считай, это редакционное испытание — поездка с Вадиком. Значит, тебя в газете приняли и думают, что ты в доску свой, — говорит папа, знакомый с редакционной кухней. — Просто забей. Представь, что ты один приехал. Ты же переживал, что ты в номере будешь не один? Судя по тому, как все пошло, можешь раскладываться там как у себя дома, никого не будет.

— А вещи его? — беспокоится Чеев.

— Нашел о чем думать! Привезешь обратно, да и все. Не забудь пару тыщ за это с Вадика стрясти, чтоб не наглел.

Вот так, довольно скоро, пролетает несколько часов, и Чеева приглашают на ресепшен. Он, беспокойно оглянувшись на баул коллеги, зачем-то спешит, торопливо вытаскивает паспорт, краснеет, потому что за стойкой девушка, наверняка его ровесница, очень милая такая, но смотрит строго, будто все про Чеева знает. Между прочим спрашивает, курит ли он, и хотя Чеев не выносит сигарет, все равно рдеется еще больше, будто его уличили. Есть у Чеева странная черта: при виде симпатичной девушки он сразу представляет, что женился на ней, прикидывает, как хорошо будет с ней в браке, какие у них будут дети, насколько

ее родители адекватнее, чем его родная семья. И все это — лишь при мимолетном взгляде на шею, на руки, носик. То, что девушка может угадать и такие мысли, тоже вгоняет Чеева в краску. Началось подобное довольно рано, когда о браке было думать странно. В тринадцать Чеев влюбился в гостившую у них неделю двоюродную сестру, внутренне возмущался порядкам, которые не одобряли браки между кузиной и кузеном.

«А ведь если подумать, то ведь встречу ее на улице и даже не вспомню, где видел», — размышляет Чеев, получив ключ-карту от номера. Он чувствует неловкость, что думает про нее подобное, покуда ковыляет в сторону желанных после перелета и ожидания душа и постели. Удивление размером номера, который больше, чем родительская квартира, а про съемную малосемейку и говорить нечего, отвлекает Чеева от самокопания. Он мстительно роняет сумку Вадика чуть ли не на пороге, перешагивает через нее, сбрасывает ботинки, осторожно, как кошка, обходит две комнаты, два туалета и ванную, где находится собственно ванна, а еще душевая кабина и еще один унитаз, ну и всякая прочая мелочовка. При этом тут так свободно, что можно впихнуть еще кухонный гарнитур. Жаль, что уезжать отсюда

нужно завтра в шесть утра, а то… А что «а то»? У Чеева нет знакомых в Москве, вписку он тут устроить не может. Разве что Вадик притаранит падших женщин, но тогда проще и здоровее будет пойти погулять на свежем воздухе или сразу выписаться и уехать в аэропорт.

Чеев смотрит на телефоне, сколько осталось до мероприятия, которому посвящена командировка. У него есть четыре с лишним часа. Есть не хочется, поэтому Чеев лезет в душ, затем заводит будильник, включает телевизор и отключается, но не сразу. Простыня настолько гладкая, что невозможно лежать, согнув ноги, наволочки на всех трех подушках крахмально поскрипывают, чуть ли не как пенопласт по стеклу. Чеев ворочается и думает: «Вот ты свинья, в хостел бы тебя или куда-нибудь в номер под Сысертью» — и внезапно просыпается от веселого сигнала будильника. Коллеги нет.

Чеев звонит ему. Вопреки ожиданиям, Вадик сразу же берет трубку, успокаивает Чеева уверенным голосом:

— Иди, не жди меня. Я не приду. Чего мне там делать? Я у него уже брал интервью с год назад вроде бы. Наклепаю чего-нибудь. Да даже если из головы возьму, кто будет проверять?

— Вадим Григорьевич… — пытается вразумить его Чеев, но не находит слов.

— Да чё ты паришься? — не понимает Вадик. — Главное, ты, блин, сумей его запечатлеть, ну и еще каких-нибудь кадров там наснимай. Сам его расспроси, если поймаешь. Давай, студент, пока-покедова. Развлекайся там.

«Да и хрен с тобой», — решает Чеев. Еще раз лезет в душ. Приободренный неожиданной свободой, принимается напевать про свет звезд, коснувшийся крыс, причем одной из них назначает Вадика. Тщательно мажется дезодорантом, одевается, хватает фотоаппарат, насвистывая, шагает на выход.

Охранникам он уже не любопытен, будто пропитался духом гостиницы и поэтому стал неразличим для них до степени невидимости. В фойе имеется аппарат для чистки ботинок, который Чеев тут же пускает в дело, хотя и понимает, что, пока дочапает до места, ботинки станут такими же, как до щетки и крема.

Чеев идет по центру и не может поверить, что находится в другом городе, на другом конце страны. Да, все благоустроеннее как будто, здания древнее, они похожи на краеведческие музеи, поставленные бесконечной чередой по

обе стороны дороги. Из кованых оград и над кирпичной кладкой нескольких попавшихся на пути церквей торчат сырые ветви каких-то деревьев — не тополей точно. Вроде акации или яблони, может быть клена, — тонкие, длинные, густые и прочные, потому как не обламываются под тяжестью облепляющего их снега. Ему нравится, как пахнет камнями, асфальтом, корой, бензином. И пусть в центре его города запах почти тот же — сам он живет на окраине, редакция тоже на периферии, за ж/д вокзалом, не в бараке, но окруженная чем-то вроде бараков. Поэтому Чеев чувствует себя не на работе, а шляющимся просто так в выходной день.

Его хватает за рукав суровая пожилая женщина и спрашивает как пройти. Уверенностью взгляда и требовательностью голоса она напоминает Чееву его собственную бабушку.

— А я не из Москвы, — почему-то хвастается Чеев.

— Да я вижу, — заявляет она. — Но у вас у всех же сейчас карты в карманах.

Чеев вынужден согласиться. Показывает ей дорогу, говорит, где сесть на трамвай. Женщина отпускает его и уходит. Только тогда Чеев замечает, что к бабульке прилагается маленькая

девочка со скрипичным футляром в руке. До этого Чеев просто не мог отвлечься то от суровых голубых глаз пожилой женщины под стеклами квадратных очков, то от экрана смартфона.

Он еще только на середине пути, а меж тем начало мероприятия через двадцать минут, нужно ускориться, но не успевает Чеев пройти до ближайшего перекрестка, а его снова окликают.



Переулок. Девушка загнала машину на удачное, как ей казалось, парковочное место, прикрытое ровным снежком, и теперь автомобиль по брюхо в сугробе. Тут же и ее молодой человек плюется от досады и виновато грустит, да и девушка невесела. Молодой человек просит подтолкнуть. Чеев оглядывается по сторонам. Только что вокруг было полно всяких прохожих, видом покрепче, нежели Чеев. Сейчас он и девушка переглядываются, а ее молодой человек яростно орудует лопаткой под колесами и подсовывает туда обломанные с ближайшего куста черные ветки. Понятно, что выбора у Чеева просто нет. Он кладет сумку с фотоаппаратом на багажник, упирается в корму автомобиля. Молодой человек прыгает внутрь машины, Чеева обдает выхлопом и снежными брызгами вперемешку с древесной трухой, но Чеев при всем этом ощущает азарт, а не досаду. Ему интересно, получится ли у него справиться и раскачать несколько тонн заленившегося металла. Почти сразу становится понятно, что дело пойдет. Машина оказывается на удивление легкой и с готовностью отдается на волю все более широкой амплитуды, куда увлекают ее водитель и Чеев, затем вырывается на твердую почву.

Молодой человек выскакивает к Чееву, радушно жмет ему руку, девушка, чтобы Чеев не забыл, берет сумку с фотоаппаратом с багажника и вешает Чееву на плечо. Они даже машут ему на прощанье, а Чеев стоит и ждет, когда окончательно развеется запах духов девушки с ароматом черемухи, такой приятный и такой странный, когда вокруг зима.

Слегка улыбаясь, Чеев продолжает маршрут, радуется новогодним витринам, что все чаще стали попадаться по пути, нескольким усталым и серьезным собаководам с веселыми собаками в комбинезонах, запаху шоколада и выпечки из вейп-шопа (он и не думал, что они еще существуют, думал, что все загнулись еще года полтора назад). Так же улыбается бодрому, подтянутому мужчине, на голове которого вязаная шапка с торчащими в стороны оленьими рогами. Мужчина радостно улыбается Чееву в ответ, как знакомому, но преграждает дорогу. Оказывается, у мужчины в руке раскрытое удостоверение, он просит паспорт Чеева или права. Чеев ни в чем не виноват и достает документы.

— Не хотите исполнить свой гражданский долг? — дружелюбно осведомляется мужчина.

Чеев не очень хочет, но зачем-то говорит:

— Хочу. Только я тороплюсь.

— Да это минут на пятнадцать, не больше.

Чеев никогда не бывал в полиции, да чего уж там, его никогда и для проверки документов не останавливали. В связи с этим между ним и полицейским сразу устанавливается дружелюбная атмосфера взаимного любопытства и связанности общим делом служения государству. Правда, Чееву приходится оглядываться на работника органов, потому что тот идет позади и подсказывает, куда идти.

— И где вы только так уделались? — между делом спрашивает полицейский. — По сугробам лазили, что ли?

— Да буквально только что машину попросили толкнуть, — объясняет Чеев вязаным оленьим рогам, не в силах оторвать от них взгляд каждый раз, когда они оказываются в поле его зрения.

— А-а, то-то от вас бензином несет за версту, — понимает полицейский и отчего-то как будто становится спокойнее, чем прежде.

Представление об околотках у Чеева чисто телевизионное и киношное. По «Майору Грому», которого он смотрел сам, по «Следу» и последним сезонам «Тайн следствия», которые смотрит мама. В реальности всё несколько иначе. По-

мещение смахивает на убранство здания, где находится его редакция, только похуже. К примеру, кафель на полу такой же выщербленный, дырявый линолеум лежит похожими волнами, стены выкрашены масляной краской, разве что в редакции висят кашпо с цветочными горшками, откуда, в свою очередь, свисают листья неведомых Чееву растений, а в полицейском участке цветов нет.

Кабинет, куда приводят Чеева, мало отличается от коридоров. Первое, что бросается Чееву в глаза, — шкаф, на котором лежат сланцы и болотные сапоги. В углу расположен собранный мангал, с по-дружески привалившимся к нему полупустым бумажным мешком березовых углей. С гардины свисает штора, желтенькая, как фильтр выкуренной сигареты. Подоконник завален бумажными папками такого же цвета, поверх папок лежат чистенькие, даже лоснящиеся, чугунные гантели, такие же, которыми балуется папа, — 16 кг каждая.

В остальном — ничего необычного: компьютеры, принтеры, чем-то похоже на бухгалтерию. А! Вот чем: бледно цветущий кактус перед монитором такой же, жаба на удачу и фигурка того, кого Чеев считает Буддой, совсем как у бухгалтерши

в закутке.

Что до мира одушевленного, то он состоит из двух полицейских, наверное оперов, еще одного понятого и мрачного гражданина в наручниках, обреченно разглядывающего свои белоснежные тренировочные штаны и белоснежные кроссовки. Вообще, среди всех присутствующих арестант одет с виду приличнее всех, да и побрит и пострижен тоже ничего так. Тут начинается опись его имущества, и оказывается, что он, похоже, на данный момент еще и самый богатый из всех, волею судьбы набившихся в кабинет. При нем оказывается три с чем-то тысячи долларов купюрами по пятьдесят.

Чееву становится грустно, ведь сесть некуда, а номера купюр принимаются переписывать не сказать что торопясь. Этим занимается только один полицейский, а второй то приходит, то уходит, когда его телефон принимается играть очередную мелодию из «Ла-Ла Ленда», которые поставлены у него вместо звонков с разных номеров. Кроме всего прочего — жарко. Чеев и другой понятой уже расстегнулись как могли, но не помогло. Чувство духоты происходит еще и из-за того, что про такую задержку в участке можно было догадаться. Из заявленных ранее пятнадцати

минут только десять занял путь по дворам. Еще на улице у Чеева имелась возможность сказать, что он опаздывает, тем более так оно на самом деле и есть. А теперь уже как будто поздно давать заднюю, когда часть серий и номеров купюр уже переписана.

Два часа проводит полицейский над деньгами, но это еще не все, приходит очередь паспортов и согласия на обработку персональных данных. К этому времени Чеев находится уже в меланхолическом состоянии, словно проникшись им от изначально находившихся в светлой грусти задержанного и одного из полицейских. В противоположность им — сотрудник, что приволок сюда Чеева, в какой-то момент появившийся с ним, этот второй в форме. Эти двое, даже когда неподвижно стоят над душой спокойного коллеги, будят внутри Чеева картинки коней, грызущих удила. Из-за такой разницы настроений и темпераментов в кабинетике происходит непрерывное течение неясной энергии типа ци, которую Чеев, не веря в нее, все же ощущает. Если закрывает глаза, то ему мерещится гудение воздуха, как возле трансформаторной будки.

И даже вышедши на свежий воздух, Чеев еще под впечатлением от неожиданной экскурсии.

Морально выжат, притом что на него и не давили вовсе, но искра в нем тоже есть, будто в накопившем статического электричества шерстяном свитере. Чеев еще не теряет надежды успеть сфотографировать областное селебрити.

Он знает, как все происходит у него в городе, вряд ли здесь по-другому. Сначала долго съезжаются люди, ведущие себя как знаменитости, сдвигая начало на час-полтора. Выступление хора очень похожих друг на друга детей. Струнный квартет из серьезных музыкантов, создающих впечатление тройной грусти: над инструментами, печальной классической композицией и собственной жизнью. И вот объявление победителей, после чего общение. Последнее затягивается допоздна.

Однако строение, заявленное местом раздачи слонов, уже напоминает ночник. Внутри еще теплится свет, но снаружи не видно курящих поддатых людей в костюмах-тройках и вечерних платьях. Разве что неподалеку тусит молодежь, обсуждая, куда пойти дальше. С упавшим сердцем Чеев приближается к ним и спрашивает насчет вечеринки деятелей театра.

— Так всё, — говорит самый высокий из них. — А вам чего?

Чеев, не скрывая досады, объясняет ему, в чем дело. На спросившем надеты штиблеты, единственное точно подходящее определение которым «лихие», они выглядят так, будто много пережили, словно старше своего хозяина раза в четыре, вот-вот развалятся, но есть в них что-то от расхристанного соседа, который оказывается, к примеру, художником, и это обнаруживается во время репортажа с его выставки. На бритой голове собеседника татуировка — роза ветров, навроде тех, что набивают себе воры на коленных чашечках в знак того, что ничто и никто не в силах поставить их на колени. Что символизирует в таком случае звезда на макушке человека, который находится перед Чеевым, даже представить страшно, но человек этот вполне себе внушает доверие.

— Пойдем с нами, — сочувственно приглашают Чеева, и он соглашается.

Компания оказывается в полуподвальном помещении, внизу которого еще одно, видимо, подвальное, там они и располагаются. Все заказывают алкоголь, но Чеев не решается и берет чай. Новые знакомые вроде бы говорят о своем (Чеев не вникает о чем, он погружен в невеселые мысли о пропавшей даром командировке), но,

оказывается, и про него не забыли. В какой-то момент показывают:

— А это не он там сидит?

Чеев поднимает голову от чашки и видит человека, которого должен сфотографировать, — тот окружен друзьями и пустыми пивными стаканами. Общая нетрезвая атмосфера действует на Чеева, незаметно для себя он проникся уже общим настроением субботнего бара, где нет уже ни работы, ни должностей, отчасти даже времени нет до того, как хозяин бара всех попросит.

— Да и бог с ним, — говорит Чеев и тоже, как остальные, берет выпить.

В гостиницу он приходит далеко за полночь, да и то лишь затем, чтобы сразу выселиться. Едет в аэропорт, где уже в зоне регистрации столпотворение грустящих пассажиров, узнавших, как долго еще не вылетят их самолеты. Рейс Чеева тоже нескоро, да еще и неизвестно, точно ли вылетит, как указано на табло, — вдруг перенесут в очередной раз. Чеев покупает билет на поезд, буквально последний, на верхнюю полку, едет на вокзал, там покупает две бутылки воды и шоколадок. На все это уходят почти все оставшиеся на карте деньги. Чеев радуется, что не сирота и родители, в случае чего, не дадут умереть с голоду.

В первые же часы путешествия он понимает, что простудился, но это отчасти и приятное чувство. Ему и холодно, и жарко. Соседи по купе незаметно выходят и садятся на многочисленных станциях. В купе они лежат, как Чеев, как будто тоже болеют или даже умерли. Все случившееся в командировке бесконечно повторяется в его долгом сне, прерываемом только на походы в туалет, на питье из бутылок и на короткие беседы с бабушкой и родителями.

В сон Чеев окунается, будто в очередной эпизод просматриваемого сериала, он уже знает, какая серия ждет его, когда закроет глаза. Вот он нужен для того, чтобы доставить домой вещи Вадика, вот должен толкать машину, теперь он требуется в роли понятого, а сейчас необходимо не сфотографировать знаменитость. Акт нефотографирования является ядром его кошмара, и весь ужас состоял не столько из страха, сколько из непонимания и попытки сообразить, почему он заруинил все их с Вадиком путешествие из Екатеринбурга в Москву, просто поддавшись наитию, что так надо было. Но объяснить себе, что это за «надо», он не может.

Папа, невзирая на загипсованную ногу, и мама, несмотря на загипсованного папу, встречают его

на вокзале, отвозят к себе, и там уже на следующую ночь сухой жар отпускает его, с Чеева сходит семь потов, температура спадает.

Всё — от аэропорта до почти неразличимой лезгинки в такси с мамой по левую руку и макушкой папы на переднем сиденье — кажется ему теперь просто умело смонтированным трехминутным роликом, видеоотчетом безымянного блогера о мытарствах в нелетную погоду.

Но нагоняй в редакции настоящий, он полностью обрушивается исключительно на голову Чеева, потому что хитрый Вадик все еще ошивается где-то и не торопится обратно. К счастью, пронырливость, ловкость и жажда к общению Вадика обоюдоостра. Он ушел в загул, но он же добыл фотки с праздничного банкета у какого-то знакомого тусовщика, да, пока никто, даже супруга корреспондента не могла точно сказать, где он теперь находится, но он, пусть и с легким опозданием, выкатил и репортаж про церемонию награждения, на которой не был, и даже интервью с лауреатом. Благодаря коллеге все оказывается не очень ужасно, даже Чеев оказывается не так плох, как прежние персонажи на его должности: вернулся, привез редакционное оборудование обратно в город, не влез в приклю-

чения, которые бы повлияли на газету негативно, дали повод общественности говорить: «Ага! А мы всегда подозревали, что пригрели змей на груди, да еще на бюджетные деньги!»

На этой почти позитивной ноте Чеева отпускают, и он идет на обед в ближайшую кофейню, потому как есть не хочет, а немного наполнить желудок потребность есть.

В фанерной будке с покачивающимся полом сидит девушка-бариста, на ней худи с логотипом кофейни во весь перед, чтобы ни один посетитель не сомневался, куда его занесла нелегкая. Чеев видит татуировку на запястье девушки и внутренне морщится, но не потому, что ему не нравятся татушки, а потому, что изображено там что-то неопределенное, какие-то завитки. На шее у нее выбит иероглиф — вроде кривой оконной рамы с запятыми вокруг. Только затем Чеев понимает, что это какая-то новенькая сотрудница.

Они здороваются, Чеев делает заказ и ждет кофе с собой, смотрит, как девушка неохотно справляется с работой. Вид у бариста, словно она тоже зря съездила куда-то и заболела на обратном пути.

Не очень громко играет колонка, стоящая между стаканом для чаевых и кьюар-кодом для них же. Магомаев начинает очередной куплет

словами «Петь птицы перестали», и девушка раздраженно выдергивает колонку из розетки.

— Свет звезд коснулся крыс, — шутит Чеев.

Девушка кривится и сообщает:

— Капец, я думала, только двоюродная сестра у меня долбанутая, а тут еще человек нашелся. Как она задолбала этими крысами…

— Я в автобусе услышал, — оправдывается Чеев. — Мелкая какая-то пела.

— А эту мелкую не Даша, случайно, звали? Если Даша, то это точно она. Даша — невменяша.

— Не помню, — признается Чеев и спрашивает сам: — А тебя как зовут?

— Вообще-то на бейдже, для особо одаренных, специально написано имя, — строго осаживает девушка.

— Ну как бы да, — соглашается Чеев. — Только я бейджика что-то не наблюдаю.

Девушка спохватывается, шарит по худи, краснеет, смотрит себе под ноги, шепчет короткое ругательство, быстро наклоняется и с грохотом ударяется головой обо что-то за стойкой, поднимается, потирая правую половину лба. На лице у девушки одновременно написаны и боль, и веселье, и смущение. В руке у нее карточка с именем.

— А как тебя? — спрашивает девушка.

Чеев самую малость медлит с ответом, потому что его на мгновение захватывает мысль: «Неужели все, что случилось, было не просто так, а ради этого? Как же хорошо!»

Денис Драгунский

Чудо святой Варвары

Гуляли по дачным аллеям; потом по запущенному парку детского санатория, ближе к реке. Говорили о качелях внезапной удачи и столь же нежданного невезения.

Андрей Сергеевич, давний житель этого старого подмосковного поселка, рассказал свою любимую историю об одном советском диссиденте-эмигранте, бывшем сидельце, который в 1991 году, на гребне перестройки и гласности, собрался, наконец, на родину. Но прямо перед вылетом вдруг почувствовал себя плохо: сердце прихватило. Доктор в аэропортовском медпункте сказал, что ничего страшного, но посоветовал хоть пару часов побыть в покое, понаблюдать за своим самочувствием — и полететь следующим рейсом — через те же два часа. Уложил его на кушетку в медпункте и позвонил на регистрацию, чтоб поменяли билет. Когда он лежал, глядя в потолок, и корил себя за ипохондрию и малодушие, раздался грохот, и вздрогнуло все здание: его самолет, самолет того рейса, на котором он должен был лететь, — взорвался, едва поднявшись на двести метров… То есть он был спасен! Он прилетел

в Москву в четверг вечером, а в пятницу с утра пораньше к нему пришел нарочный, и вручил повестку в КГБ, и заставил расписаться. То есть он чудом избежал смерти в авиакатастрофе, но — на горизонте был допрос на Лубянке, а там, возможно, арест, суд, снова тюрьма… Кошмар! Он едва дождался понедельника, но это был не простой понедельник. Это было, представьте себе, 19 августа! Тот самый августовский путч. В понедельник гэбистам было явно не до него, а в среду это была уже совсем другая страна. Чудо номер два! Но, усмехнулся Андрей Сергеевич, своей уголовной статьи он все-таки дождался. Хотя отделался мелкими неприятностями и снова уехал восвояси. То есть на чужбину, по печальной нужде ставшую новой родиной. Все-таки отпустили!

— Смешно! — сказала Нина Викторовна.

— По-моему, просто чудесно! — сказал Андрей Сергеевич. — Цепь чудес!

— Не знаю, не знаю… — она пожала плечами. — Все-таки нет. Никакое это не чудо, а так, набор счастливых случайностей. Я тоже знаю много таких историй. И про самолет, почти точно так же. И про поезд, как человек опоздал, а поезд упал в реку. И как человек случайно вышел из офиса, а там вдруг пожар и все сгорели. Но это

все-таки не чудо!

— Наверное, — сказал он, чтоб не начинать пустой спор. — И вообще в наше время чудес не бывает. Сплошная теория вероятностей.

— Бывают! Еще как! Да, представь себе, я верю в чудеса! — вдруг возразила Нина Викторовна. — Но в настоящие. Потому что я их видела. Могу рассказать. Кстати, ничего, что я на «ты»?

— Все правильно! — сказал он.

Теперь пора объяснить, кто такая Нина Викторовна.

В те времена, о которых пойдет речь далее, Андрей Сергеевич ее просто не замечал, хотя они жили в одном дачном поселке. В те… тут надо вздохнуть и произнести целую кучу ностальгических эпитетов — в те незабвенные, баснословные, чудесные, славные, молодые и веселые времена — она была для него сначала и вовсе младенцем, пассажиркой детской коляски, дочерью соседки. А потом, когда он достаточно повзрослел — она стала одной из десяти-двенадцатилетних девчонок, которые носились по дачным аллеям то бегом, то на детских великах. Он не был уверен, что отличал ее от остальных.

Но если Андрей Сергеевич в свои взрослые годы ее замечал (мало ли где он мог ее заметить! Могла

пробежать мимо или громко плюхнуться в воду на узком речном пляже) — то не обращал на нее внимания. В отличие от соседского племянника Игоря, с которым он не дружил: во-первых, тот был гораздо моложе, а во-вторых — мент. Сначала курсант, а потом опер, или как это там у них называется. В те годы Андрей Сергеевич только и знал, что делил людей на группы, классы, отряды и семейства. По профессии, репутации, образованию и даже происхождению, увы-увы. Придирчиво решал, с кем прилично водиться, а с кем — не очень. С кем — почетно, а с кем — стыдно.

А когда Андрей Сергеевич уже стал обращать на нее внимание, он уже не позволял себе думать о ней всерьез: разница в поколение тогда очень сказывалась — особенно если мужчине сорок, а девушке семнадцать. Но потом — в смысле вот сейчас, когда они гуляли по дачным аллеям, — разница в возрасте странным образом сгладилась. Когда мужчине семьдесят, а девушке под пятьдесят — они вроде уже как будто ровесники; не только на сторонний взгляд, но отчасти изнутри сознания — тоже.

— Мне кажется, я тогда тебя просто не замечала, — сказала Нина Викторовна, словно бы услыхав его мысли. — А вот ты меня мог заметить,

я была длиннее всех. В свои двенадцать тянула на все пятнадцать. Но только по росту! — засмеялась она. — Дылдястая девочка, так говорила физручка в школе. Итак, чудо. Ты хочешь про настоящее чудо?

Андрей Сергеевич кивнул.

Она продолжала:

— Это было в середине восьмидесятых, может быть, в третьей четверти, то есть примерно году в восемьдесят шестом… Или чуть позже? Прости, что я так занудно пытаюсь установить точную дату. Мне кажется, это важно. Чтобы понять подробности. Да и вообще забавно все это вспоминать, — говорила Нина Викторовна. — Почему забавно? Потому что Горбачев уже был, перестройка уже началась, но я ничего не замечала. Наверное, потому что мне было двенадцать лет. Или уже тринадцать? Да, может быть. Все вокруг было по-старому.

И поселок наш был еще по-старому устроен… Я прекрасно помню те наши дачи. Они тогда казались виллами, дворцами, ну или, по крайней мере, крепкими, надежными загородными домами. Помню, как я, гордясь, говорила подружкам: «У нас не дача, у нас настоящий загородный дом». Не то что теперь, когда половину дач уже снесли,

а вторая половина дряхлеет в зарослях, ожидая решительного наследника, который или сам снесет ее и построит что-то большое и модное, или продаст под снос.

Лев Толстой писал в «Отце Сергии»: *«Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей. Первое: из людей богатых и придворных; второе: из небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; третье: из богатых людей, подделывающихся к придворным, и, четвертое, из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым».* В нашем чудесном высокохудожественном поселке было точно так же, но с двумя поправками. Во-первых, вместо «придворных» поставь «знаменитых». Получается — наше поселковое сосайети, оно же комьюнити, состояло из трех групп. Из людей знаменитых и богатых; знаменитых, но небогатых и людей как бы случайных, залетевших в наши кущи еще в самые ранние пятидесятые годы, еще чуть ли не при Сталине. Наверное, это были какие-то художественные чиновники. Ну или люди знаменитые короткое время, вот именно в то давнее время, а потом их слава стушевалась, а дача осталась.

— Именно! — кивнул Андрей Сергеевич и

постарался понять, к какому сорту он тогда относился. Не к первому точно. Но и не к третьему, слава богу.

— А во-вторых, кого совсем не было в твое и отчасти в мое время, — продолжала Нина Викторовна, — так это людей просто богатых, но совсем не знаменитых. Устав дачного кооператива был в этом смысле строг: принимали только своих. Никаких новых русских еще не было, даже слова такого не было еще. Кстати, я знаю, когда появилось это слово: в 1992 году, в самом первом номере газеты «Коммерсант-Дейли». Причем в очень позитивном смысле. Те, кто «вписался в рынок» и зарабатывает, ты только не упади в реку — (они уже догуляли до берега и шли по тропинке вдоль воды) — зарабатывает не меньше пятисот долларов в месяц, — она искренне захохотала.

— Не смейся над курсом и над паритетом покупательной способности! — Андрей Сергеевич засмеялся тоже.

— Да, так вот… Еще одна, по сравнению со Львом Николаевичем, важная поправка. У нас в поселке речь все-таки шла о наследниках этих вот «богатых и знаменитых». О детях, а то и внуках. Маша Волкова, моя главная подруга, была внучкой вот такого богатого и знаменитого. А

себя я не знала куда пристроить. Мой покойный дедушка, от которого у нас была дача, через два дома от Волковых, был если и знаменитый, то очень давно, и не особо богатый. Наверное, его богатства хватило только на дачу, а далее — его знаменитость не давала особого приварка. Папа был скромный труженик на той же ниве. В отличие от Волкова Петра Петровича и отца его Петра Евгеньевича — Машиных папы и дедушки. Но так-то мы все были друзья и вроде бы равны — я еще захватила кусочек советского воспитания.

— Ах, Нина Викторовна! — вздохнул он. — Знали бы вы…

— То есть «ты»! — тут же поправила она.

— Знала бы ты, Нина, какие бездны неравенства разверзались и какие вавилоны громоздились в Советском Союзе… Ничего, что я так красиво говорю?

— Ничего, нормально! — сказала она. — Знаю, знаю. Я никак не перейду к делу. То есть к чуду. Хорошо. Итак. Маше Волковой какие-то друзья родителей привезли из-за границы куклу Барби. Маша тут же позвала нас всех к себе. Сейчас-то я, все вспоминая в деталях, понимаю, что эта Барби была самая дешевая. В одном платье, то есть без гардероба. Без домика с мебелью и посудой.

И конечно, без Кена. Но всем нам — особенно мне — она показалась прекрасной. Кажется, нам кто-то рассказывал о такой кукле. Или в газетах? Не помню. Но помню, что я в нее сразу влюбилась. Именно так. Страстной и тихой любовью. Любовь эта усугублялась тем, что я точно знала — о своей собственной Барби мне даже мечтать не приходится. За границу никто из моих родных не ездил, а даже если и ездил разочек-другой, какая-нибудь дальняя тетя, то я знала, что наши люди за границей все деньги тратят на вещи важные и нужные. На одежду и на технику. То есть на всякие кассетники и транзисторы. Иногда такие вещи продавали задорого и радостно говорили: «Окупил поездку!» Я это слышала много раз. Ясное дело, что в таком, извини меня, социально-экономическом контексте ни о какой Барби речи не шло. Тем более в подарок дальней родственнице, то есть мне.

Мы — Лена, Ксюша и я, и еще Люба из соседнего поселка института связи — приходили к Маше, как на работу, играть с Барби. Мы шили ей халатики, строили для нее дачу из картона, сажали в саду деревья, то есть втыкали в песок веточки — в общем, как я сейчас понимаю, впадали в полное пятилетнее детство. Но, наверное, в этой Барби

что-то было. Какая-то сила притяжения. Наверное — это я опять-таки сейчас понимаю, — секрет был в том, что Барби — это была кукла для малышей, но — как взрослая девушка. Даже, наверное, как молодая женщина.

Потом, через неделю примерно, остальные девочки «выпали из детства» обратно, так сказать. Перестали играть в Барби и тянули нас на речку, в лес или в кино в детском санатории рядом — туда легко можно было протыриться. А мне не хотелось ничего, кроме Барби. Просто держать ее в руках. Смотреть в ее синие глазки. Воображать, что она моя старшая подруга, которая рассказывает мне всё-всё про жизнь и про людей.

Я мечтала взять Барби домой — хоть на один вечер. И представь себе, однажды я спросила у Маши Волковой — так, как бы в шутку: «А давай Барби сегодня как будто поедет в другой город и заночует в гостинице?» — «А где будет эта гостиница?» Я едва осмелилась произнести: «Например, у меня».

Маша, к моему изумлению, согласилась, но сказала: «Сначала приготовь ей постель, а я приду проверю». Я помчалась домой. Старых кукольных кроваток у меня было две, но в последний момент стало неловко выбрасывать оттуда моих старых

кукол, Нату и Аглу, то есть Аглаю. Они так глупо и доверчиво пялились на меня! Я их задвинула в глубину одежного шкафа, нашла на кухне пустую коробку из-под печенья и живо соорудила для Барби шикарную кровать, немножко похожую на гроб. Потом побежала за Машей.

Маша кроватку одобрила, и мы уложили Барби спать. Я едва дождалась, пока Маша уйдет. Накрыла Барби одеялом из носового платка.

Была только половина девятого. Я потащилась в кухню пить чай и спросила маму — почему известную американскую куклу назвали Барби? Мама объяснила, что это значит Барбара, распространенное американское имя. То есть Варвара.

— Фу! — сказала я. Имя Варвара показалось мне уродским и простецким. — Барби лучше.

Но мама не согласилась. Нежное имя Варенька из русской классики, да и святая Варвара, покровительница всех, кому грозит внезапная смерть. Мама тогда начала увлекаться разными церковными делами. Как сейчас бы сказали — искала путь к Богу. Читала всякие такие книги, знакомилась со священниками — и вот коротко рассказала мне житие святой Варвары из Илиополиса, как ее собственный отец по имени Диоскор отрубил ей голову за веру в Христа.

Нет, это меня совершенно не впечатлило. Но зато понравились сами слова — святая Варвара. И вдруг показалось, что к Барби меня так тянуло именно поэтому. Что она и была святой Варварой — то есть не самой святой, а образом ее. Пластмассовым кудрявым голубоглазым воплощением.

Допив чаю и умывшись, я пошла к себе.

Погасила свет, легла на бок и увидела, что над кроваткой Барби — то есть над картонной коробкой — поднимается сияние. Наверное, это луна светила в окно, и ее луч попадал на спящую Барби. На всякий случай я встала, не зажигая света. Взяла из ящика стола кусочек фольги — золотце, как мы называли конфетную завертку, — у меня там много таких было. Сложила кружочком и сделала для Барби вроде нимба, как на иконах. Зачем, почему? Не знаю. Как-то само получилось. Поцеловала ее через воздух, не касаясь губами. Снова легла и уснула.

А утром понесла отдавать Барби.

Мы с Волковыми жили через два дома — идти пять минут.

Вдруг мне захотелось еще немножко побаюкать и приласкать Барби. Я присела на край кювета, положила ее на колени, погладила ее личико.

— Эй, ты чё тут делаешь? — раздалось сзади.

Кто-то подъехал на велике и с лязгом остановился.

Я обернулась. Это был мальчишка лет четырнадцати, явно не из нашего поселка. Цыпатые руки в ссадинах. Клетчатая мятая ковбойка с неправильными пуговицами. Разбитый велосипед, весь перемотанный изолентой. Я сразу поняла, что он — из Сретенского. Рядом с нами, километра три через поле по разбитой щебенчатой дороге, на другой стороне нашей маленькой речки, был то ли городок, то ли поселок Сретенский. Или Сретенское.

— Зачем ты объясняешь, я все прекрасно знаю! — сказал Андрей Сергеевич. — Если честно, это мы были рядом с ними. Наши дачи появились в начале пятидесятых, а Сретенскую суконную фабрику построили еще при Екатерине Второй.

Но мы-то были сам понимаешь кто — о-го-го! А они — шпана какая-то.

— Чё это у тебя? — спросил он.

Нет бы мне прижать Барби к груди, вскочить и побежать к Маше. Но, наверное, хотелось покрасоваться перед сретенской шпаной. Я сказала:

— Кукла. Американская. Дорогая. Зовут Барби.

— Уй ты. Дай позырить. Да не ссы, чесслово!

И я, как последняя дура, протянула ему Барби и еще сказала строго:

— Только не испачкай.

Он взял ее и стал вертеть в руках, рассматривать, а потом свистнул, сунул ее за пазуху, нажал на педали и умчался, дребезжа своим разломанным великом.

Конечно, Маша плакала, но сказала: «Что ж поделаешь». Не стала на меня орать, я это оценила. Хотела ее обнять, но она вывернулась.

Ее бабушка сверкала глазами и повторяла: «Машенька, не плачь, я тебе куплю такую же!» — «Где такую купишь?» — Маша мужественно пожимала плечами. «Все равно куплю! — грозила бабушка. — Вот увидишь!»

А потом Маша перестала со мной играть. Нет, она не сказала: «Я с тобой больше не вожусь!» — фу, какое детство. Она просто была очень занята, или ей нездоровилось. Об этом мне сообщала, выйдя на крыльцо, ее бабушка.

И вот, наверное, уже в пятый раз я пришла к Волковым. Был почти вечер. Дорожка к их дому была темная, потому что накрыта низко склонившимися деревьями. Я очень ясно — как будто сама себя издалека — слышала, как скрипит гравий под моими сандалиями. Это было добавочно

стыдно, потому что у меня не было кроссовок, как у Маши, Лены и Ксюши. Были кеды, но совсем нелепые и старые. Гравий! Вернее сказать, это был не настоящий гравий, а серо-фиолетовый угольный шлак из отопительного котла. Ты ведь помнишь — раньше здесь топили углем, потом провели газ, но на задних дворах еще долго оставались кучи шлака, который годами выгребали из котлов, — его хранили, чтобы подсыпать дорожки, особенно же въезды для машин.

Вот. Я шла, громко хрустя этим как бы гравием, и, наверное, меня услышали в доме. А может быть, увидели с крыльца. Или догадались, что это я. Дверь, ведущая в дом с застекленной веранды, вдруг закрылась и заперлась — я услышала это, а через десять секунд убедилась лично.



Обойдя куст жасмина, я поднялась на каменное крыльцо из аккуратного, но уже обомшелого кирпича вперемешку с кривоватыми, треснутыми и по углам обломанными кубиками желтого мягкого известняка, который в нашем дачном обиходе почему-то назывался «бут»; но эта обомшелость и потресканность только прибавляла стиля — особенно если иметь в виду плети дикого винограда, которые ползли по крыльцу.

Обыкновенно у Волковых в дом входили через веранду, и без стука. Полагалось войти в следующую дверь, уже ведущую в дом, и только там позвать того, к кому ты пришел. Машу, например.

Но веранда была заперта. Я постучалась. Никакого результата. Тогда я обошла дом и влезла на заднее крыльцо. Именно влезла, потому что там не было нижней ступеньки и надо было высоко задирать ногу. Дверь в кухню была открыта — прости, что я так по-глупому подробно рассказываю, но я это запомнила, да и вообще всю эту историю запомнила на всю жизнь, — я вошла и громко позвала Машу.

— Маши дома нет! — выскочила ее бабушка.

— А где она? — зачем-то спросила я, хотя мне ясно было — со мной больше не хотят иметь дела.

— Уехала в Москву.

— А ваша машина вот, стоит под навесом, — совсем бестактно сказала я.

— Уехала с соседями! — чуть смутилась бабушка. Лариса Николаевна ее звали, я вспомнила. — Да, с соседями, с Грибановыми… — и вдруг разозлилась: — А кто ты такая, меня тут уличать?

Повернулась и быстро вышла, захлопнув дверь, ведущую из кухни в дальнейший коридор.

Я тоже вышла — на крыльцо.

Зачем-то решила обойти дом с другой стороны. Сделала пару шагов и остановилась. Там было открытое окно, и взрослые, они разговаривали.

— Зря так издеваться над ребенком, — сказал Петр Петрович, Машин папа.

— Она не ребенок. Ей двенадцать лет! — ответила Лариса Николаевна.

— Тем более лучше сказать прямо. Так вот и сказать: «Ниночка, тебе отказано от дома!»

— А она поймет, что это значит?

— Поймет. Умная девочка из хорошей семьи.

— Вот и я говорю, из хорошей семьи! — возразил Петр Петрович. — Вряд ли она могла украсть.

— А я не говорю, что она украла! — чуть не взвизгнула Лариса Николаевна. — Сотый раз

повторяю: в этом возрасте нет понятия «украсть». Она просто… Ну как это сказать… Вот! Взяла себе. И обманула подругу, рассказав какую-то несусветицу.

В кухню вошел Игорь, племянник Волковых: он приехал погостить. Ему было больше двадцати. Он был сначала курсант милиции, а теперь просто милиционер. Кажется, следователь, я не знала точно. Он посмотрел в окно, и мне на секунду показалось, что он меня заметил. Или нет?

Потом голос подала мама Маши. Наверное, она сидела в углу, поэтому я ее не видела.

— Я, конечно, глубоко уважаю Виктора Яковлевича и Наталью Ивановну… — это она про моих маму и папу. — Образованные, интеллигентные люди.

— Вот! — сказал Петр Петрович.

— Но у самых прекрасных людей могут быть самые разные дети!

— Вот! — сказала Лариса Николаевна.

Они еще что-то говорили.

Странно: как будто им больше вообще не о чем говорить.

Я посмотрела наверх и увидела черные ветки на фоне вечереющего неба, еще яркого, но уже с закатным золотом, примешанным к лазури.

Был конец июля. Ничего, что я так красиво выражаюсь?

— Ничего, все хорошо, — сказал Андрей Сергеевич.

Я увидела эти ветки и поняла, что мне делать. Потому что я увидела свое тело, худое и дылдястое, с чуть подвернутой головой, тоже черное на небесном фоне, висящее среди этих ветвей.

Прыгалки. Я решила — вернее, в тот миг еще не решила, но уже захотела — повеситься на прыгалках. Я представила себе, как на прощанье поцелую их круглые деревянные ручки, уже подзатянув петлю на шее, за секунду до того, как шагнуть с кривого шершавого сучка вниз. То есть — вверх! Туда, в небо. Где с меня сойдет эта клевета, эта ложь, это гадкое, страшное, пока еще не произнесенное, но уже готовое выскочить слово — «воровка». Потому что я не крала эту Барби!

— Ты хотела сказать: «эту паршивую Барби»? — добавил Андрей Сергеевич.

— Нет! — вскричала Нина Викторовна. — Эту прекрасную, бесценную, любимую Барби! Зачем ты про нее так?

— Извини, — сказал он.

Нина Викторовна продолжала:

— От жалости к себе я заплакала. Потом пошла

дальше, вокруг дома. Но воткнулась в совсем непроходимый шиповник, и повернула назад, и опять прошла мимо крыльца.

На крыльце стояла Маша.

Мы встретились глазами.

— Зачем ты наврала, что уехала? — спросила я.

— Это бабушка наврала, а не я! — ответила Маша. — А ты подслушивала. Подслушивать подло! Ты подлая! Ты очень подлая!

Наверное, она хотела произнести страшное слово «воровка», но все-таки не решалась.

Я опять заплакала, потом вытерла глаза рукой и сказала:

— Я честно не крала твою Барби. У меня ее правда отняли. Какой-то сретенский мальчишка. Я правду тебе рассказала.

Маша посмотрела на меня и вдруг сама заплакала во всю силу. Спрыгнула с крыльца ко мне, обняла меня и сказала:

— Всё, всё, всё. Пойдем ко мне.

— Они на меня злятся, — я мотнула головой к двери.

— Тогда завтра! — Маша продолжала меня обнимать. — Я с ними все улажу. Все им объясню. А ты приходи завтра, прямо после завтрака. Поедем на великах кататься. Или вот с Игорьком на лод-

ке. Он к нам на целый месяц, в отпуск, — и вдруг прошептала, сплетническим голоском: — У него денег нет на море поехать. И у его папы с мамой тоже нет денег. Они попросили, чтоб он у нас на даче поотдыхал. Он хороший. Приходи!

Мне стало легче. Но все-таки я спросила:

— Ты мне веришь, что я не крала твою Барби?

Маша обняла меня еще крепче и прошептала в ухо:

— Неважно.

— Почему это неважно? — Я пыталась отстраниться и посмотреть ей в глаза.

Она не давалась. Она горячо дышала мне в ухо:

— Потому что я тебя прощаю! Прощаю навсегда! Бери себе!

Ах ты черт…

— Не надо меня прощать! — закричала я, выдралась из ее горячих и липучих объятий и убежала.

Вот тут я точно решила, что мне надо повеситься.

Родителям жаловаться было бессмысленно. «Ерунда, брось!» — сказал бы папа. И мама бы подхватила: «Тоже мне проблемы!» В этой истории они были на моей стороне, я ведь им все тут же рассказала. Да, конечно, на моей стороне, но

как-то очень легко. Не вдумываясь. Барби для них была просто кукла. И слова Маши и ее бабушки — просто слова.

Ночью я два раза просыпалась и смотрела на пустую кроватку Барби — то есть на пустую конфетную коробку. В ту единственную ночь, когда Барби — моя Варенька, моя святая Варвара — спала здесь, из коробки поднималось тихое жемчужное сияние. Я думала — вдруг она вернется. Но было темно.

После завтрака я взяла прыгалки и пошла вешаться.

Но все-таки решила в последний раз зайти к Маше Волковой. Потому что она сказала, что прощает меня и дарит мне Барби, а я сказала «не надо». То есть как будто бы согласилась, что я украла, но отказалась от прощения.

Я пришла к ним, проскользнула в приоткрытую калитку — ах, времена, когда почти половина наших жителей не запирали калитки и заборы были с редким штакетником, — но вдруг раздумала объясняться с Машей. Там, прямо за воротами, был широкий въезд для машины — а тропинка рядом. Я набрала светлых камешков по бокам въезда и выложила на темном утоптанном шлаке — «я не крала Барби!». Я уже совсем

заканчивала, но сзади раздались шаги. Я дунула прочь, побежала по аллее и услышала, как этот ихний племянник Игорь выскочил из калитки — калитка громко скрипнула старой пружиной, и топот за мной, он кричал «стой, стой!» — но я припустила к лесу. Он бы все равно меня не нашел. Я в лесу знала все тропинки.

Там было мое любимое место. Вечная лужа, вроде маленького болотца, и над ней раскидистое дерево, пригнутое книзу, с толстыми сучьями и узкими серебристыми листьями. Кажется, ветла.

В этой луже водилась странная лягушка, почти желтого цвета с пятнышками, я ее давно заметила. Вот и сейчас она выглянула и на меня посмотрела. Я ей подмигнула и развела руками — вот, мол, какое неприятное зрелище тебе предстоит, сестричка. Лягушка на всякий случай нырнула и спряталась.

А я полезла на ветлу налаживать петлю из прыгалок. Странное дело, я совсем не думала о маме с папой, и вообще ни о ком и ни о чем.

— Стоп! Стоп! Совсем с ума сошла! — этот самый Игорь прибежал.

Догнал и нашел, вот беда. Интересно, это все милиционеры такие дико ответственные?

Он чуточку подпрыгнул и дернул меня за ногу.

Я свалилась с широкой толстой ветки, прямо ему в руки. Он поставил меня на землю. Тут мне стало страшно. Наверное, я представила себе, как это больно и противно — вешаться. Я даже села в траву. Стиснула руками колени, чтоб не было видно, как они дрожат. Ну а что делать? Больно, противно, а надо.

Игорь сел рядом со мной, обнял меня за плечо.

Я резко отодвинулась и, наверное, еще сильней задрожала.

— Не бойся! — сказал он. И повторил: — Не бойся меня, я ничего…

— Я не боюсь, — перебила я. — Я все знаю. Книжки читала, картинки видела, девчонки рассказывали. Твоя Машенька в том числе. Мне все равно. Я сейчас умру. Хорошо, не сейчас, через пять минут, какая разница?

Он привстал, снял куртку, пошевелил рукой в траве, нащупал и отбросил какой-то сучок или камешек, разгладил зелень, постелил куртку.

— Ложись на спину и закрой глаза.

Я легла. Мне было совершенно все равно. И даже чуточку интересно. Даже на время расхотелось вешаться. Я подумала, что повеситься всегда успею. Тем более после «этого», потому что мне тогда уж точно будет нечего терять.

Я лежала так несколько минут. Мне казалось, что долго. Потом я чуть приоткрыла глаза. Увидела, что он сидит рядом с блокнотом в руке. Он сказал:

— А теперь спокойно подыши. Как будто перед сном. Не жмурь глаза изо всех сил, а легонько так прикрой. И постарайся вспомнить, как это все было. Этого парня. Его одежду. Его велосипед. Главное, не спеши и спокойно вспоминай.

Я не могла вспомнить его лицо. Но я помнила руки. Царапины. Сбитые костяшки пальцев. Ковбойка в клеточку. Белая пуговица на груди. Коричневые кеды. Велосипед. «Темно-красная рама. Руль, обмотанный синей изолентой. Звонок на руле слева. Еще изолента на раме, но теперь зеленая, грязная. Педали без резинок, ободранное железо», — шептала я.

Игорь раскрыл блокнот и стал записывать.

Потом сказал:

— Если ты на самом деле все так хорошо запомнила, мы его найдем. То есть в смысле, я его найду. Вставай. Пошли.

— Прыгалки забыла, — я показала на дерево.

Он ловко залез на этот толстый боковой сук, отвязал прыгалки, кинул мне.

Я протянула ему руку, чтоб он помог мне

встать.

— Сама, сама! — сказал он.

Через три дня ко мне пришла Маша, очень мрачная.

— Игорек зовет. Надо в Сретенское съездить.

Мы ехали на его жигулях.

Он говорил:

— Послушайте, девчонки. Вот я старше вас на десять лет. Работаю в милиции. Но я тоже все время удивляюсь, какая бывает жизнь. Удивляюсь, какая она некрасивая и тяжелая. Никак не могу привыкнуть. Это понятно. Мой папа — полковник. Мама — директор школы. А мой дядя — сам Петр Петрович Волков! — и он подмигнул Маше в зеркальце заднего вида. Как-то льстиво подмигнул — со злостью отметила я. — Да, девчонки. Я с детства жил в удобстве, в тепле и уюте. Не знал, да и сейчас до конца не знаю, как люди на самом деле живут…

— А как они на самом деле живут? — спросила Маша.

— Сейчас увидишь.

Машина остановилась у длинного деревянного дома. Я знала, что такой дом называется «барак». Мы иногда ездили в Сретенское на великах — полчаса в оба конца, — покупали там мороженое

в магазине, а на обратном пути через мостик видели эти бараки — ближе к речке и старой фабрике. Но туда не ездили. Нам все говорили, что туда не надо. Могут велики отнять, побить или вообще.

Мы прошли по коридору барака. Игорь толкнул дверь.

Да. Он правду говорил. Такого разора, грязи и вонищи я никогда глазами не видела и носом не чуяла. Пахло жаревом, куревом, потными подмышками и ночным горшком. Три кровати. Одна — высокая железная. Другая — низкий топчанчик. Третья тоже железная. Много табуреток. Электроплитка, на ней суп варится. Велосипед в углу, с красной рамой. Рама обмотана изолентой. На высокой железной кровати сидит старенькая тетка (теперь я понимаю, что ей было лет сорок). На топчане — мальчишка не старше пятнадцати. Тот самый. А на третьей кровати лежит какая-то бледная немочь с серыми волосами, как пакля, и поверх одеяла у нее — Барби. И она вцепилась в нее своими костлявыми пальцами с грязными ногтями.

Видно было, что они все нас ждали.

— Вот! — сказал Игорь. — Девочка Света. У нее одна ножка совсем кривая, а вторая тонкая. Она

еле до окна может дойти, на костылях. Ей десять лет. Мамы с папой у нее нет. Одна тетя Лиза. А это тети-Лизин племянник, Славик. Брат девочки Светы. Он, конечно, был неправ…

Мы с Машей разревелись и рванули к двери.

Вечером у Волковых было что-то вроде маленького праздника. Теперь все любили всех и громко наслаждались своим великодушием. Лариса Николаевна, бабушка Маши, даже как будто извинилась передо мной. «Мне очень жаль, Ниночка, что я тебе не поверила сразу. Но признай, история была такая… не совсем натуральная, как будто придуманная. Правда?» — «Правда, правда!» — сказала я. Мне совсем не хотелось злиться и выяснять отношения. Но в уме я поняла — все равно для Ларисы Николаевны и я, и даже племянник Игорь — на ступеньку ниже. Потому что Петр Петрович, ее сын, а тем более Петр Евгеньевич, ее покойный муж, — богатые и знаменитые, а мы — уже не то. Мой дедушка — просто когда-то был известный. Не так, чтоб знаменитый, и уж точно не богатый. Мир устроен лесенкой, никуда не денешься. Маша рыдала и обещала отдать лишние книжки и платья, и я рыдала от жалости к девочке Свете, но ни за какие коврижки никто из нас — ни богатая и

знаменитая Маша, ни втершаяся в эту компанию я — не стал бы с этой Светой не то что дружить — порог ее кошмарной конуры не переступили бы. Лучше в самом деле повеситься.

«А как же там живет Барби? — спросила я себя. И тут же ответила: — Барби — ведь это святая Варвара. Святые могут».

Дальше было совсем интересно.

Через пару дней я сидела у Волковых в большой гостиной и пила чай — теперь мы с Машей опять были лучшие подруги. За столом были только мы с Машей и ее мама. Вдруг с веранды зашел этот самый Игорь и сказал:

— Был в Сретенском, у ребят. Ну, у тех, которые мне помогли найти куклу. Там вообще черт знает что. Девочка Света, ну вот эта, инвалидка, — ударила ножом свою тетю Лизу. Но без последствий. В плечо. Сегодня. Рано утром. Сонную. Доковыляла до нее, и вот… Крика было, страшное дело. Поэтому группа приехала. В чем дело, почему? Потому что тетя Лиза продала ее куклу. Вот эту Барби. За сто рублей. Чтоб купить девочке одежду, то да сё, они ведь страшно бедные, для них сто рублей как для меня тысяча. Ничего, все нормально, тетя Лиза не стала заявление подавать, простила девчонку, ранка маленькая, списали на

бытовую травму.

И тут из коридора вошла Лариса Николаевна, бабушка Маши.

У нее в руках был синий пластиковый пакет с иностранными буквами. Такие пакеты в те годы не выбрасывали, а сохраняли. Она несла его в обеих руках, как подушечку с орденом. Остановилась у стола.

— Маша! — сказала она. — Я обещала, что куплю тебе новую Барби. Вот! Правда, она не новая, но еще лучше!

Вытащила куколку из пакета, протянула Маше и продолжала, едва не прослезившись от собственного величия:

— Я выкупила твою Барби из плена!

Маша ойкнула и протянула руки к Барби, но Барби вдруг спрыгнула на пол и на глазах у всех превратилась в стройную, очень спортивную девушку под метр семьдесят пять.

— Какие вы все козлы! — закричала она, перепрыгнула через стол, задев синий фарфоровый чайник, который разлетелся вдребезги, и устремилась к веранде.

— Игорь! Держи ее! — на разные голоса закричали Машина мама и бабушка. — Хулиганка! Стой!

Но Игорь посторонился, и Барби, зачем-то разбив окно, нырнула в густые кусты шиповника.

— Что, неужели в самом деле? — Андрей Сергеевич развел руками и чуть комически поднял брови.

— Да! — резко ответила Нина Викторовна. — Спроси у Волковых, где их знаменитый чайник настоящего севрского фарфора.

— Ну а в чем чудо-то?

— Осенью сказали, что в Сретенском видели на рынке девочку. Точь-в-точь племянница тети Лизы. Худенькая, бледненькая, но — без костылей. Сама ходит, ты понял?

— Понял, понял! — согласился Андрей Сергеевич.

— Но для меня главное чудо святой Варвары — даже не это. Хотя, конечно, исцеление расслабленных — это классика.

— Что же?

— То, что я изменилась сама. Можно сказать, исцелилась. Помнишь, я тебе сказала, что жила в мире лесенок и вертикалей? Кто богаче, кто знатнее, кто умнее… Кто старше и главнее. Искала свое место в этих жестких решетках. Карабкалась. Кого-то отпихивала ногой. К кому-то не рисковала подойти. Холодный, унылый вертикальный

мир. А после этого случая — не сразу, конечно, нет, не сразу, не в двенадцать-тринадцать лет… Мне для этого понадобилось лет десять. Чтобы перейти в горизонтальный, или даже спиральный мир, где людей не меряют, не взвешивают, а любят. Но началось все именно тогда. С чуда святой Варвары.

Она вздохнула и добавила:

— А вот папа римский уже давно вычеркнул Варвару из списка святых. Зачем? Почему? Как глупо! Но ничего. Нас это не касается, — улыбнулась Нина Викторовна.

— А вы такие прямо православные? — спросил Андрей Сергеевич.

— Опять на «вы»? — засмеялась она.

— Прости, Ниночка! — и он, идя рядом, левой рукой легонько обнял ее за плечо. — Однако ответь.

— Нет. Не такая чтобы прямо ух. Но все равно. Святая Варвара — это ого! Да ты теперь и сам знаешь.

Она повернулась к нему, и они, задохнувшись, первый раз поцеловались.

Павел Басинский

Зависть богов, или Вернись в Сорренто!

Долго я не решался написать об этой истории, случившейся со мной в мае не столь далекого, но точно доковидного года. История меня не отпускала, я часто вспоминал ее во всех подробностях. Но писать не поднималась рука.

Не хотелось публично рассказывать о том, как я семь дней провел в красивейшем и очень дорогом месте земли — на острове Капри. Да-да, на том самом Капри, где строили себе виллы римские императоры Август и Тиберий, а потом диктатор Бенито Муссолини. Где пролетарский писатель Максим Горький прожил семь лет, и к нему приезжали в гости Ленин, Шаляпин, Леонид Андреев и другие известные люди. Остров, посетить который считал долгом любой русский художник, поселившийся в Неаполе, чтобы оттачивать мастерство пейзажиста, а этих художников здесь в конце XIX века была целая колония. Где побывали Тургенев и Ницше, который сочинял «Так говорил Заратустра» под ослепительно прекрасным небом и солнцем неаполитанского побережья.

Остров, который стал героем рассказов Бунина «Господин из Сан-Франциско» и Хемингуэя «Кошка под дождем».

Словом, посетить это намоленное место, чтобы полюбоваться Голубым гротом, побродить в Садах Августа и попинать ногой древние камни на развалинах дачи Тиберия, а заодно сделать сто пятьдесят селфи, разумеется, можно (если средства позволяют, а они мне тогда позволяли). Но обнародовать это… Как-то не совсем прилично.

Если читающий эти строки думает, что дальше я буду описывать красоты Капри, то пусть отложит этот рассказ. Описывать совершенную Красоту еще более неприлично.

Меня останавливало и то, что вся эта на самом деле глупая история, со мной тогда приключившаяся, по зрелому соображению стала казаться мне какой-то не совсем реальной и слишком личной. Было в ней нечто по-человечески очень простое и теплое, несмотря на весь холод и какую-то безвыходность положения, в котором я оказался.

Коротко говоря, это история о том, как после роскошной жизни на Капри я двое суток бомжевал в Неаполе.

Начнем…

* * *

Отправиться на Капри и снять там дорогую гостиницу меня подвиг Максим Горький. С 2005 года, когда в серии «Жизнь замечательных людей» вышла моя книга о нем, я считаюсь как бы его биографом, хотя это слишком лестное мнение. И вот, договорившись с «Редакцией Елены Шубиной», я взял аванс под книгу «Горький на Капри». Каприйский период его жизни с 1906 по 1913 год меня давно интересовал, но в моей прежней книге он был описан бегло и по бумажным источникам. Мне же хотелось прочувствовать на личном опыте. И я подумал: семь лет на Капри я, конечно, не потяну. Но издательского аванса на семь дней жизни в раю, пожалуй, хватит. Не все же кормиться от Горького, потрачусь и я на него. Как вот Бунин, Шаляпин и Леонид Андреев. Они ведь приезжали за свой счет.

Я тоже стал большим мальчиком.

Дальше все было просто, как вообще с этим делом было просто тогда. Шенгенская виза была. Билет до Неаполя и через неделю обратно купить онлайн в компании *G*7 оказалось не сложнее, чем сходить в ближайшее «Красное&Белое» за бутылкой сухого итальянского вина. Также несложно

было забронировать номер 4* в двух шагах от Пьяццетты (*Piazzetta*) — крохотной площади в центре острова, где находится пятизвездочный *Grand Hotel Quisisana* («Квисисана»), в котором, кстати, и останавливался Шаляпин. Прямо на Пьяццетте для местной публики он пел свои мощные арии. Типа «Блоха — ха-ха!» или «Эх, дубинушка, ухнем!». И все каприйцы буквально рыдали. В том числе и ставший практически местным Максим Горький.

Дальше тоже было все просто. «Боинг-737» за три с половиной часа доставил меня из Домодедова в аэропорт Неаполя, где с табличкой *«Pavel Basinskiy»* меня встречал русский шофер из «Киви-такси». За полчаса он домчал меня в морской порт, а там у причала уже стоял огромный комфортабельный катер, отправлявшийся на Капри через десять минут. Мой скромный отечественный чемодан отправился в багажный отсек. (О-о, я тогда еще не знал, что здесь-то и таилась погибель моя!) Еще полчаса мы рассекали волны Неаполитанского залива. И вот я на Капри!

(Оговорюсь, что ради чистоты эксперимента я должен был поступить иначе. Сначала долететь до Нью-Йорка. Оттуда кораблем отправиться в Неаполь через Атлантику и Средиземное мо-

ре, предварительно успев в Америке написать «Мать» и выпустить ее в нью-йоркском издательстве на английском языке раньше, чем в России — на русском. Но это уже подробности из жизни Алексея Максимовича, которыми не буду напрягать своего читателя.)

Итак, я на Капри…

* * *

Я не стал, подобно другим туристам, нанимать дорогущее такси до Пьяццетты. В интернете я заранее изучил дислокацию, а кроме того, держал в «Российской газете» совет с Львом Данилкиным, который тогда служил редактором отдела культуры. Он только что получил «Большую книгу» за биографию Ленина и до этого побывал на Капри в поисках важных для своей книги впечатлений. (Впрочем, возможно, я вру. Лев сначала побывал на Капри, где есть памятник Ленину в виде небольшой каменной стелы. У ее основания он увидел живую змею, нашел в этом знак свыше и уже потом стал биографом вождя мирового пролетариата. Во всяком случае, он так это рассказывал, а если я в чем-то ошибаюсь, пусть меня поправит. Кстати, не исключаю, что в этом рассказе Лев опустил важную деталь. Эта змея

таки ужалила его. Иначе невозможно понять, с какого перепуга актуальный литературный критик вдруг озадачился биографией Ленина. Я так думаю.)

Но вернемся к моей истории.

Все туристы на Капри делятся на две неравные категории. Первая — это ежедневный турпоток. Иначе говоря — однодневки. Они приезжают на остров группами с гидами, говорящими на их родном языке, за пару часов пробегают от Пьяццетты до Садов Августа с перерывом на обед в местной кафешке и потом на автобусе отправляются на другой конец острова — Анакапри, что так и переводится с итальянского — Другой Капри. Там они изумленными глазами осматривают виллу шведского врача Акселя Мунте — фанатика острова, который в начале XX столетия построил здесь неописуемой красоты особняк в античном стиле, где кабинет и спальня находятся на краю скалистого обрыва с видом на залив. За это он, по собственной легенде, изложенной им в книге «Легенда о Сан-Микеле»[5], продал дьяволу душу и в конце строительства дома ослеп. История эта, конечно, придуманная. Но вилла Сан-Микеле

[5] Примечания: 5

Мунте А. Легенда о Сан-Микеле. М.: Художественная литература, 1969. Пер. Татьяны Аксаковой.

абсолютно реальна и является своего рода памятником Великой Мечте, за которую не жалко заплатить любую цену. Осмотрев виллу и поднявшись по канатной дороге на *Monte Solaro,* чтобы напоследок с вершины горы полюбоваться на окрестные виды, усталые и довольные, туристы возвращаются в Неаполь. Или в Сорренто. Или на остров Искья с его хорошими пляжами и природными термами. Словом, туда, где они остановились и где находятся их чемоданы.

И они совершенно правы. Жить на Капри — зачем? Остров скалистый, купание здесь так себе. Потрясающих музеев и художественных галерей, как в Неаполе, нет, а чтобы подняться на Везувий, нужно опять-таки доплыть до Неаполя. Наслаждаться красотами Амальфитанского побережья, протянувшегося на полсотни километров между живописными скалами и лазурным морем, лучше всего бросив якорь где-нибудь в Салерно или Сорренто. А потратить свой отпуск и немалые деньги исключительно на Капри… Это какой-то изыск, выверт и даже, я бы сказал, нечто вроде культурного мазохизма. Ну да — красота! Но мало ли в Италии красивых мест. Почему — именно Капри?

Из чувства туристического долга я один раз

спустился по отвесно-вертикальной тропе к воде, и за двадцать евро меня пустили на крохотный бетонный парапет, где я мог худо-бедно искупаться. Во время второго заплыва меня укусила ядовитая медуза с противным названием *Jellyfish* (дословно — желейная рыба). После чего мне и в голову не приходило посетить какой-то якобы существующий здесь небольшой пляж.

Но дело даже не в отсутствии возможности нормально искупаться. В принципе — зачем жить на Капри? Остров маленький, и все его достопримечательности можно осмотреть за один день. Приехал, посмотрел, поставил в своей биографии галочку: был на Капри. Как Тиберий, как Горький, как Ницше. «Что вы говорите? Капри? Я там был. Дивный островок! Жемчужина в камне! Будете в Неаполе, непременно побывайте!»

Как-то примерно так…

И все-таки есть вторая категория туристов, которые не просто приезжают на день на Капри, но какое-то время здесь живут. Что-то их в этом острове манит — по разным причинам.

Например, Капри навещают звезды и миллионеры. Однажды, проходя мимо отеля «Квисисана», на открытой террасе за столиком я увидел знакомое лицо. Это был Том Круз, и он в одиноче-

стве пил кофе. Можете надо мной смеяться, но я не удержался и помахал ему рукой. *«Hello, Tom!»* — *«Hello!»* — ответил он и улыбнулся голливудской улыбкой. Через пару шагов на Пьяццетте я увидел двух американских миллионеров в обвисших шортах. Облокотясь на парапет над обрывом, они ели мороженое из стаканчиков и обсуждали курс биржи. То, что это американские миллионеры, я понял из подслушанного мною разговора.

Среди постояльцев острова Капри ты периодически встречаешься с такими людьми.

Это нормально.

Стараясь избегать ежедневного турпотока, я за семь дней не встретил здесь ни одного русского. Во всяком случае, ни разу не слышал русской речи. Сюда приезжают в основном состоятельные немцы, англичане и американцы. Есть и итальянцы, но это, как правило, молодожены. Не знаю почему, но Капри называют Островом Любви. Рядом с одной пожилой немецкой парой я оказался за соседним столиком в кафе и, не зная немецкого, ничего не понял из их разговора, но по их виду было понятно, что у старичков медовый месяц, и это было очень трогательно.

Меня же интересовал только один вопрос. Ост-

ров небольшой. Каким образом сверхактивный Максим Горький продержался здесь семь лет? Две с половиной тысячи дней и ночей. Скоростные катера из Неаполя тогда не ходили, большие корабли приплывали нечасто. В начале XX века Капри еще не был дорогим курортом. Здесь и сегодня административное управление — это коммуна, по-русски — община. И даже сегодня, стоит вам сделать несколько сотен шагов от Пьяццетты со скучающим Томом Крузом за столиком, как в стороне от туристических троп вы попадаете в натуральный частный сектор, с рабицами, сарайчиками и овощными грядками. Кстати, на одном из таких участков я и столовался, потому что ходить одному в пафосные рестораны было как-то некомфортно. За десять евро приветливый дяденька подавал мне на пластиковый стол вкусную пасту, приличный кофе и графин домашнего вина. Жаль, поговорить с ним не получалось, я не знал итальянского, он — английского и русского. Услышав, что я русский, он всегда приветствовал меня одним-единственным кодовым словом — *«Putin!»*. В ответ нужно было поднять вверх сжатый кулак.

В те времена, когда здесь жил Горький, Капри вообще был захолустьем. Всемирный туризм как

таковой начинает активно развиваться в начале XX века, до этого были в основном санатории и лечебницы для туберкулезников и сердечников. Интерес к древней истории и спекуляции на ее счет только начинали становиться мировым трендом. Аксель Мунте в своей книге пишет о том, как старик-каприец, продавший ему кусок места с бесполезными скалами в Анакапри, копаясь на своем огороде, с досадой отбрасывал лопатой римские монеты вместе с камешками, чтобы они не мешали корням овощных культур, а мальчишки вдоль дороги швырялись обломками античных статуй.

Чем же привлек Горького этот остров, кроме полезного для его больных легких климата? Считается, что невероятной красотой. «Если бы я был Богом, то сделал бы себе кольцо, в которое вставил бы Капри», — писал он жене Ивана Бунина Вере Николаевне. Очень характерное для романтика Горького сравнение.

Но позвольте! В одном отдельно взятом месте красотой можно любоваться день-два, неделю, месяц… Но потом ведь к ней привыкаешь и перестаешь воспринимать как Красоту. Это правда, что на Капри, в какой бы точке ты ни находился, на триста шестьдесят градусов окрест

— сплошная Красота! Но на протяжении семи лет твердить себе каждый день: «Ой, какая же здесь красота!»...



* * *

Вот это я и хотел понять, прожив на Капри не семь лет, но хотя бы семь дней. Что же такое эта пресловутая каприйская Красота?

Поставив над собой этот эксперимент, я каждый день с утра уходил путешествовать по острову. Подчеркиваю, только по той части, которая и называется Капри и где жил Горький, меняя виллы. (Сегодня только на одной из них, из красного камня, висит табличка, что здесь проживал «великий революционер» *Maxim Gorky,* знаменитый главным образом тем, что к нему приезжал *Vladimir Lenin* — в представлении итальянцев фигура куда более значительная.) На изучение второй части острова — Анакапри — у меня уже не хватило времени. Пришлось в потоке с обычными туристами ограничиться виллой Сан-Микеле и *Monte Solaro.*

На самом деле Капри — остров большой. Нужно принимать во внимание не только его горизонтальное, но и вертикальное измерение. Это остров многоуровневый, что увеличивает его площадь в несколько раз. За семь дней, уходя на прогулку с раннего утра и возвращаясь поздно

вечером, я не обошел, наверное, и сотой части этого острова. При этом в гостиницу я возвращался, не чувствуя под собой ног, и падал на кровать совершенно без сил. Гулять по горизонтали — это одно, а по вертикали — совсем другое. Нечто такое можно испытать в Крыму, особенно — в районе Нового Света, который чем-то напоминает Капри.

Но не это открытие было главным, и не оно поразило меня. За семь лет пребывания на Капри страстный ходок Горький, несомненно, обошел весь остров вдоль и поперек, снизу доверху, и не один раз, изучив каждый его метр. Меня поразил не размер острова, а именно феномен Красоты Капри.

Да, примерно на третий или четвертый день к ней привыкаешь. Думаю, проживи я здесь месяц, я вообще перестал бы ее замечать, во всяком случае, перестал бы бесконечно ею восхищаться. Красота эта слишком бросается в глаза. Она не проникает в тебя постепенно и деликатно, как, скажем, красота Русского Севера. Красота Капри заполняет тебя сразу и целиком, властно, с первого взгляда, как немыслимо красивая женщина. Это такой «рак глаза». Не то что одного дня, одного часа довольно, чтобы ты оказался в полной

власти Красоты этого острова и захотел, по словам Горького, оправить его в перстень, чтобы увезти с собой. Именно поэтому уже со второго дня я запретил себе фотографировать *виды*. Это абсолютно непродуктивно. Все виды здесь одинаковы, потому что одинаково прекрасны.

Однообразное чудо. Не самое лестное определение для, возможно, самого красивого места на земле.

Сделав такое открытие примерно на третий день, я приуныл. Я стал задавать себе вопрос: какого черта я здесь делаю? Я не Горький, чтобы снимать виллу за виллой, выбирая наиболее подходящую для быта и творчества, жить с актрисой МХТ Марией Андреевой, одновременно гражданской женой, секретарем и переводчиком, и писать о «свинцовых мерзостях русской жизни». Ко мне не приедут Ленин и Шаляпин.

Я не из тех, кто, жалея потраченные деньги, будет убеждать себя, что здесь *исключительно хорошо*, потому что здесь *исключительно красиво*. К тому же во мне нет туристического азарта и жажды изучения древних камней. Я не верю в развалины виллы Тиберия и готов поручиться, что если он здесь и жил, то не в этом именно месте, куда меня привел дорожный указатель.

Туристический бизнес — дело не тонкое, а весьма грубое. Я в этом много раз убеждался, когда мне пытались впаривать глубокую древность в виде какой-нибудь Великой Китайской стены, ежегодно обновляемой кирпичами из соседнего комбината. Сады Августа, конечно, разбили не при Августе, и он сам, если и был здесь, видел какие-то другие сады и в другой точке острова находившиеся.

Остается Природа. Ее не фальсифицируешь. Небо, море, скалы — настоящие. Вот их видели Тиберий и Горький — на том же самом месте. Но эту красоту я уже понял, наполнился ею по самую макушку и теперь решительно не знаю, что мне с ней делать.

Словом, наступил момент, когда я отправился в местный магазинчик. Благо белого вина и лимончеллы там было предостаточно, а вкуснейшие каприйские помидоры размером с детскую голову в сочетании с сыром…

Озарение, как водится, снизошло на меня внезапно и именно в тот момент, когда я понуро брел в винный магазин. Что-то меня остановило на полпути. Я оглянулся, еще раз проверяя на себе воздействие Красоты, и окончательно понял, что она на меня больше не действует… Я к ней

привык.

Но неожиданно, сам не знаю зачем, я посмотрел на свои ноги в шортах и кроссовках. Потом — на свои руки, торчавшие из рукавов обычной спортивной майки. Стал рассматривать кисти этих рук. И вдруг я понял, что схожу с ума.

Это был не я, а какой-то другой человек. Это был очень красивый человек, потому что на третий день, когда он перестал воспринимать Красоту острова как нечто вне его находившееся, он сам стал частью, фрагментом этой Красоты. Я вдруг почувствовал себя не чужим на этом празднике Жизни и Природы, но естественно *своим*. Мне улыбались небо и море, и скалы стали мне родными, как сестры. Каприйские птицы щебетали мне объяснение в любви, а какой-то шмель явно приглашал с собой подружиться. И я сам, будете смеяться, очень хотел подружиться с этим потрясающей красоты парнем с волосатыми ногами в дешевых шортах и глупой, но обворожительной (я ее видел!) улыбкой на лице.

Не буду лукавить, бутылочку винца я все-таки купил и распил в номере. Я не мог не отметить этот праздник знакомства с самим собой. С Павлом Басинским, который, черт побери, живет на Капри! На Острове Любви, который в тот момент,

когда этот душнила готов был его проклясть, не просто распахнул свои объятья и не просто принял его в них, но сделал частью самого себя. И то же происходило с Тиберием и Горьким, с каждым, кто здесь жил в состоянии полного невероятного счастья любви к самому себе, заслуженно или нет ставшему частью этой Красоты.

Следующие четыре дня были, наверное, самыми счастливыми в моей жизни.

* * *

Но сколько веревочке ни виться… Наступило утро, когда мне нужно было покидать остров. На том же фуникулере, на котором я неделю назад поднимался на Пьяццетту, я за один евро спустился в *Marina Grande* (Большой Порт). Катер в Неаполь по расписанию отходил через полчаса, и я не торопился к кассе, неспешно попивая кофе с лимончеллой в прибрежном кафе. А зря! Когда я направился за билетом, возле кассы уже волновалась небольшая толпа туристов. В суматохе не сразу выяснилось, что катера в Неаполь не будет, потому что забастовали неаполитанские моряки. Но будет катер в Сорренто. Прикинув в голове время пути до Сорренто и из Сорренто на поезде в Неаполь, я решил, что к самолету все-таки

успеваю. Пробившись через шумевшую толпу, я взял билет и пошел к катеру. Сдал чемодан в багажный отсек…

И вот тут я допустил серьезную промашку. Перед поездкой в Италию в интернете я прочитал, что на Юге много воришек. Таскают кошельки из карманов, вскрывают на ходу дамские сумочки… Не знаю, пара ли рюмочек лимончеллы так на меня подействовала или расслабленное состояние души, в котором я пребывал на острове, но все деньги, паспорт, ноутбук и телефонную зарядку я оставил в чемодане. Со мной остался только смартфон, на уровень заряда которого я даже не взглянул.

В катере сладко заснул, и мне снился Капри.

В Сорренто я выяснил, что мой чемодан пропал. Когда все вещи вынесли из багажного отсека, моего чемодана среди них не было. И это была катастрофа…

Если бы в оставшейся при мне дорожной сумке были деньги и паспорт, я, наверное, мысленно плюнул бы на свой нехитрый скарб и даже на старенький ноутбук и поспешил бы в Неаполь, чтобы успеть к самолету. Но куда я без паспорта и без денег? С разряженным смартфоном.

Дальше началась безобразная бессмыслица.

Итальянские полицейские не говорят по-английски, как и работники соррентийского порта. Поиски чемодана оказались напрасными, как и попытки объяснить разным официальным лицам, что мне нужно связаться с российским консульством в Неаполе. Чтобы поскорее от меня отделаться, в полицейском участке в Сорренто мне на смеси разных иностранных языков посоветовали отправиться в Неаполь на поезде и там решить свои дела с консульством, причем на поезд посадили бесплатно. Но, видимо, и итальянские железнодорожники немножко бастовали, потому что поезд простоял на путях пять с лишним часов, и в Неаполь я прибыл поздно вечером.

* * *

Железнодорожный вокзал в Неаполе — многолюдный, с платными туалетами и невозможностью никому ничего объяснить по-русски и по-английски — встретил меня неласково.

Вокзал охраняют три вида стражей порядка. Обычная муниципальная полиция, железнодорожная полиция и карабинеры в беретах, лихо сдвинутых набок и на затылок, что делает их похожими на наших вэдэвэшников.

В полицейском участке меня явно так поздно не ждали. Выслушав мою сбивчивую английскую речь и, видимо, что-то из нее все-таки поняв, дежурный *poliziotto* объяснил мне (в состоянии стресса я начал понимать по-итальянски, но говорить еще на научился), что все приличные люди, кроме него, уже не на работе. Они ужинают дома. Звонить в российское консульство сейчас бессмысленно. «Что же мне делать?» — спросил я. «Ждать до утра», — вздохнул он. Я попросил его позволить мне сделать звонок с его сотового телефона. Мне важно было позвонить в Москву жене и маме, которая в это время гостила у нас, приехав из Волгограда. Позвонить им было даже важнее, чем в консульство. Я понимал, что они там начинают всерьез беспокоиться. Мой рейс из Неаполя давно прилетел, а меня нет, и телефон мой не отвечает. Дежурный полицейский сначала охотно согласился предоставить мне связь. Но, услышав, что я собираюсь звонить в Россию, поцокал языком и вернул трубку в карман. «Это дорого, синьор!» — сказал он. И что-то стал объяснять мне про маленькие зарплаты, которые выдают в итальянской полиции.

Я понял, что придется ночевать на вокзале. Мой вопрос, как мне быть с платным туалетом при

полном отсутствии денег, поверг стража порядка в непродолжительное раздумье. Затем он посоветовал мне решить эту деликатную проблему с железнодорожной полицией, в подчинении которой и находилось это заведение.

В железнодорожной полиции меня с этим странным вопросом тоже не ждали. В результате долгих переговоров с дежурным на смешанном англо-итальянском языке я, наконец, понял, что проблема моя весьма непростая, гораздо сложнее, чем посадить человека бесплатно в поезд. Туалетом управляет очень строгая синьора, к ней так легко не подступиться. «Это не в моей власти, синьор», — сказал он и развел руками. «Что же мне делать?» — спросил я. Он шепотом объяснил и показал рукой, что есть одно укромное место в конце дальнего перрона, где традиционно справляют нужду привокзальные бродяги вроде меня. «Это незаконно, но мы стараемся это не замечать, — сказал он. — Ведь все мы люди, синьор!»

Решив эту проблему, я отправился в здание вокзала в поисках ночлега. Свободное место на простых пластиковых скамейках нашлось не сразу, но все-таки нашлось. Я заснул.

Разбудил меня грубый толчок в плечо. Выяснилось, что в два часа ночи всех обитателей

вокзала, у которых нет при себе билета, выгоняют на улицу. Выгонял меня не тот полицейский, что жаловался на зарплаты, и не тот, что направлял меня в бесплатный туалет. Это был рослый и грубый мужик. Выслушав мои резоны, что я *russian writer* и у меня *great problems,* он потребовал мой паспорт и, не увидев оный, элементарно вытолкал меня за стеклянную дверь взашей вместе с другими неаполитанскими бомжами, которых на вокзале было примерно с десяток и которых я до этого не замечал. Мои попытки прорваться обратно в дежурный полицейский участок не увенчались успехом. Я остался на улице…

Последний бомж, которого выталкивали в шею вслед за мной, бородатый, с опрелостями на страшном лице, оказавшись снаружи, обернулся и крикнул: «Козлы!»

* * *

Сегодня я горько жалею о том, что не подошел к нему и не познакомился. Несомненно, он рассказал бы мне много интересного. Молодой Горький, как известно, прославился рассказами о бродягах. И я сейчас, возможно, писал бы не эту чепуху, а какого-нибудь нового «Челкаша». Но тогда я элементарно струсил. Мне не хотелось знаком-

ством с русским бомжом в Неаполе усугублять и без того стремную ситуацию. «Неизвестно, куда меня заведет это знакомство, — подумал я, — в какие неаполитанские трущобы». Кстати, этот бомж вскоре исчез. Вероятно, отправился к своим товарищам в другой части города.

Майские ночи в Неаполе холодные. С моря дул пронизывающий ветер, и мне, в легких штанах и рубашке с короткими рукавами, было от него не спрятаться. Часть изгнанных из вокзальной ойкумены бомжей устроилась на решетке в асфальте, из которой шел теплый пар. Но мне места там уже не досталось.

Я бродил вдоль здания вокзала и наблюдал собравшихся здесь людей. Это были весьма разнообразные и довольно колоритные персонажи.

Огромного роста негр с обвязанной белым полотенцем головой страстно мастурбировал на *V*-образную колонну, поддерживавшую бетонный козырек у входа в вокзал. Он делал это беззвучно, но очень выразительно.

Тройка юных фриков в красных, желтых и зеленых штанах сидела, прислонившись к стене, болтала, пила виски из горла и пыхала марихуаной.

Разбитная бомжиха, приплясывая, всем дру-

жески предлагала отведать вина из початой бутылки. Но когда кто-то соглашался (не скрою, я тоже, уж больно мне холодно было!), она хитренько улыбалась и отводила руку с бутылкой в сторону. Вскоре пришли две ее товарки, которых она, видимо, ждала и с которыми поделила выпивку.

Появились парень с девушкой, разложили ватный матрас, легли на него, обнялись и сладко заснули. Я так понял, что это были Ромео и Джульетта, сбежавшие от своих враждующих семейных кланов, от местных Монтекки и Капулетти.

* * *

Утро не принесло мне радости. В здание вокзала меня пустили, новый дежурный в полицейском участке оказывать мне помощь тоже не был расположен. «Сегодня воскресенье, — сказал он, — и в консульстве никого не будет. Нет никакого смысла туда звонить. Подождите до понедельника, синьор».

Странно, но я не чувствовал себя голодным. Жажда была, а голода не было. Другое терзало меня. Я понимал, что в Москве моя семья уже сходит с ума. Наверняка мама уже мысленно

похоронила меня на дне моря с перерезанным горлом. Жена и двое сыновей… не знаю. Потом я узнал, что на уши было поднято начальство «Российской газеты» и наше консульство в Неаполе. Но кому могло прийти в голову, что человек, который должен был улететь из Неаполя в Москву, почему-то бомжует на железнодорожном вокзале. Это было как-то нелогично.

Моя попытка зарядить смартфон в лавочке, где продавались сотовые телефоны и аксессуары к ним, успехом не увенчалась, ни одна зарядка к моему «Самсунгу» не подошла.

Была еще неприятная история…

На вокзале я вдруг услышал русскую речь и радостно бросился к женщине средних лет, сидевшей вместе с маленькой дочкой, вероятно, в ожидании поезда. Я объяснил ей свое положение и попросил дать свой телефон, чтобы позвонить в Москву. Она сердито на меня посмотрела. «Иди-иди, — сказала она, — знаем мы вас». Так я и не понял: кого же она здесь знала?

Проведенные на вокзале и привокзальной площади еще один день и одну ночь описывать не буду. Ничего нового в них не было, кроме того, что к утру следующего дня я почуял, как от меня исходит характерный запах. Но не могу сказать,

что я стал себе противен.

* * *

«Павел, как же так! Куда вы пропали? Вас все ищут!» К тому времени я настолько устал и был душевно опустошен, что этот голос женщины из российского консульства, взволнованно звучавший из сотового телефона, переданного мне полицейским, специально вызванным в дежурную часть, потому что он свободно говорил по-английски, меня как-то особо даже не обрадовал. Может, потому, что я все-таки понимал: рано или поздно этим и завершится. Едва ли моя родина позволит мне сгинуть в Неаполе…

Мой чемодан нашелся в Сорренто. В *Captain House* — уточнил полицейский. Это возле пристани.

Наверное, мне нужно было проявить настойчивость и попросить, чтобы в консульстве мне предоставили машину до Сорренто или сами привезли оттуда чемодан. Но мне уже было как-то все равно. Маме сообщат, что я жив, а это главное.

В Сорренто я отправился своим ходом, и снова на поезде, и снова бесплатно. Железнодорожники уже не бастовали, поезда ходили по расписанию. Дом Капитанов возле пристани я нашел быстро,

и там был радостно встречен тройкой настоящих капитанов в белоснежной форменной одежде и с безукоризненным английским языком. Мне вернули чемодан, но сначала сделали в моем присутствии подробнейшую опись его содержимого. Между прочим, там было порядка полутора тысяч евро и еще около тысячи долларов, которые я взял с собой в Италию, на случай если не сработает карточка Сбера и придется платить кешем. Ни одна банкнота не пропала. Напрасно клевещут на простых южан.

Общаться с капитанами было верхом удовольствия! Их выправка, их вежливость и, я бы сказал, особая морская стать были великолепны. Это были Капитаны! Такие, какими я всегда представлял их по великому роману Каверина.

Один из них предложил мне добраться до Неаполя на его катере, который отходил из Сорренто через час.

Но что-то мне больше не хотелось уходить в море. Я перекусил на вокзале, купил билет и отправился обратно в Неаполь на поезде. Переночевал в привокзальной гостинице и на следующее утро улетел домой. Закончилось мое приключение.

* * *

Наверное, здесь стоит написать, какие уроки я вынес. Честно говоря — никаких.

Разве только один.

За все надо платить. И если тебя посетило счастье, обязательно настигнет и зависть богов. Если с тобой случилось прекрасное чудо, жизнь непременно обернется к тебе обратной, грубо материальной стороной. К этому нужно быть готовым. Но не нужно этого заранее ждать, потому что реальная жизнь гораздо непредсказуемее самого волшебного волшебства, а боги, черт их возьми, ужасно изобретательны.

Алла Горбунова

Белый Хуан Дай в своем Солярисе

Посвящается Ольге.

Жил белый Волшебник, он умер и оказался заточен во сне.

Жила-была девушка, которая ждала зиму. Ее звали Вероника, и ей было семнадцать лет.

Она так сильно ждала зиму, потому что зимой Фея должна была улететь.

Впервые Фея появилась в августе, в полнолуние. Вероника вышла ночью в сад, и лунный свет лежал на длинных, как голубые ресницы, иглах большой сосны у веранды. Свет блистал и лился, светлый, бледный и яркий одновременно, и маленькие яблочки, которыми были усыпаны яблони за домом, вначале показались девушке похожими на луны, наполненные отраженным светом — зеленовато-белым и нежно-розовым, но спустя мгновение стало понятно, что это их собственный свет, неотраженный, они светятся изнутри. Они растут, наливаются, дремлют, и их собственный свет становится виден. А у луны свет был вообще другой: она казалась оранжевой

и непомерно огромной. Вероника прошла мимо стекол второй, заброшенной половины дома, той, где когда-то жила Алла Алексеевна. В стеклах промелькнуло отражение чьей-то фигуры. Это была Вероника, но не совсем Вероника. Раздался словно хрустальный звон и звук, будто где-то лопнуло стекло, и возникло странное светло-темное чувство, будто что-то не так. Как будто где-то, выше и тоньше мира, произошел непоправимый сбой, разорвалась белоснежная завеса в Абсолютном Храме. Высоко-высоко и далеко-далеко подрались две птицы и убили друг друга. Тишина вокруг была разорвана невидимыми клювами и когтями, и в ней навечно осыпáлись падающие со сломанных бран звездные пылинки — белоснежные перья тех птиц.

Кто-то в промельке зеркального отражения на миг улыбнулся, и Вероника вынужденно улыбнулась в ответ. И этот миг был ужасным, потому что Вероника поняла, что отражение — это она. Она повторяет движения, чужую улыбку. Застыла навек вспышка, кроме которой ничего не было и не будет, протянулись дуги. Вероника внутри разрушенной вспышки, и весь ее мир — отражение в стеклах. И если смотреть дальше вглубь вспышки, можно узнать всё: что нет Вероники, и

нет мира, и не было никогда. Можно узнать, кому принадлежит эта улыбка на самом деле.

В разрушенной вспышке высветились, дробясь, два огненных мира: это птицы, и одна заклевывает другую. Дуги протянулись, создав коридор кривых зеркал из воды. И начала разматываться вязь забытых снов, которые видят другие сны. С того момента Вероника стала жить внутри этих снов, отражений и сказок. А в разрушенной вспышке остался кто-то увиденный на миг, Создатель всех снов, историй и сказок, и он успел сказать Веронике, что он мертв, и что в час его рожденья у него были волосы, белые, как снег, и очи — белоснежные звезды, и в короне на его волосах сияли утренние звезды, проливающие несотворенный свет.

Вязь забытых снов была похожа на узоры инея на стеклах веранды, и действительно — стало предутренне холодно. И сны, которые видят другие сны, поплыли, как поезд: вагон за вагоном. В них прогуливались люди в легких красивых одеждах, а в саду среди фрагментов лабиринта мертвые спали в шезлонгах, и через звездное небо, как мост, протянулась радуга. Небольшие холмики оказались сопками и курганами. В кургане у беседки спала мама. В кургане у скамейки

под березой спали бабушка и дедушка. В кургане за туалетом, рядом со сломанной детской коляской, спала Алла Алексеевна. А в кургане рядом со спиленной яблоней, где когда-то висели качели, спала сама Вероника. В небе вместо рыжей Луны теперь восходила большая голубая Земля, и огромное насекомое с тысячей крыльев превращалось в колесо.

Огромная радуга над садом была и вдруг исчезла, и вмиг сложилась сказка: когда родилась первая звезда, рядом была радуга. Она была такой, какой должна была быть, и стояла долго-долго, даже после того как первая звезда погибла. Появились другие звезды и миры, а радуга еще стояла. Там, где она касалась земли, можно было найти клад. Проходили бессчетные годы, люди жили под радугой и так к ней привыкли, что совсем перестали ее замечать. Однажды она исчезла. Поначалу этого никто не заметил, а когда спохватились — оказалось, что ее нет уже давным-давно. Последний раз ее видел дед самого старого деда. Никто не знал, почему она исчезла. С ней что-то ушло, но что именно — никто не мог сказать. Потом люди и вовсе забыли, что радуга когда-то была. Иногда видели недолгие радуги то тут, то там: они появлялись и исчезали. Каждая

такая маленькая радуга, промелькнув, успевала рассказать свою историю, как и та первая, большая радуга. Все эти радуги говорили, что когда-то были людьми и верили, что у них была жизнь, прожитая от рождения и до смерти, но все они были осколками сна. Настоящей их жизнью была дождевая взвесь в воздухе и слабый свет сумерек, в котором они на миг становились видимыми. В каждой из них жило не относящееся ни к кому и никогда никому не принадлежавшее, но при этом несомненное чувство: «Вот моя любовь, вот моя память». И всем им обещали откуда-то с бесконечной любовью, что снова будет так, как было.

После той ночи все стало другим. Вероника стала видеть, что мир пронизан странными и пугающими связями. Ее все чаще выбрасывало в ту самую разрушенную вспышку, где с ней говорил Сказочник. И предшествовало этому всегда явление Феи. Она возникала промельком, как отражение или тень, или таинственным образом проявлялась в других людях или ситуациях.

Тем летом Вероника сдала экзамены и поступила в консерваторию. Она много лет занималась в музыкальной школе. Дома у нее остались еще с детства две любимые музыкальные книжки:

«Спящая красавица» и «Лебединое озеро». В этих книжках были красивые картинки и рядом маленькие кружочки с нотами — если на них нажать, звучала музыка. Когда Вероника была маленькой, мама читала эти книжки перед сном. Веронике очень нравилось, что книжка и музыка могут существовать вместе, и она еще года в четыре решила, что обязательно станет или музыкантом, или писателем. Она будет создавать что-то прекрасное: или музыку, или книги. Книга почему-то казалась больше и сложнее музыки. Музыка просто звучала, а книга раскрывалась, как мир. Внутри этого мира происходили события, рассказывались истории, жили персонажи, случались чудеса. И музыка тоже была частью книги, звучала внутри этого мира. Вероника мечтала о том, что однажды напишет книгу, в которой будет весь ее мир. В этой книге ее сердце превратится в истории и персонажей, там будут люди, и цветы, и дикие звери, сновидения, башни и скалы, моря и пустыни. Но как только она пробовала начать писать — мысли путались, предложения не клеились друг с другом, и то, что было внутри, никак не могло перейти в слова на бумаге. А пела Вероника хорошо: в песне то, что было на сердце, вдруг сливалось с голосом и

звуком, и невидимые преграды между сердцем и миром падали.

Бывает, то, что ты знаешь всю жизнь, вдруг оказывается совсем другим и ты удивляешься: как я не видел, о чем на самом деле эта книга, что на самом деде нарисовано на этой картине, о чем на самом деле помнит эта музыка. Вероника открыла музыкальную книжку про Спящую красавицу и вдруг поняла, что эта история про нее. Эта история была про нее всегда и потому и лежала у нее на книжной полке, чтобы однажды, когда Вероника сможет увидеть ее *поистине*, она вспомнила. На всех картинках в книге были сцены из Вероникиной жизни. Там была та самая Фея, она прокляла ее, и Вероника должна была в семнадцать лет впасть в долгий сон, от которого ее пробудит любовь.

Веронике стало страшно, когда она увидела, что история и картинки в книге рассказывают о ней самой. Словно, открыв давно знакомую книгу, Вероника заглянула туда, куда не должна была смотреть. Видеть то, что это все про Веронику, было нельзя. Так не должно было быть: посмотреть и увидеть мир нарисованным вокруг нее. В момент этого взгляда и узнавания невозможно

было и сомневаться, что мир — это сновидение Вероники и что этот миг, это чувство и всё вокруг нарисовано именно так, и этот миг уже происходил и происходит всегда. Вероника ужаснулась этому чувству всем сердцем и одновременно не могла не принять его.

Если человек так увидел — он умер. Разве кто-то может видеть и жить, когда нет ни времени, ни пространства и только бесконечная, абсолютная Истина, которой оказываются все вещи и существа? В этот момент для Бога, который любит, умирает ребенок. Ребенок должен был жить в обычном, радостном, светлом сне человеческой жизни, а не в открытости вечного сна. А Бог, который любит еще больше, в этот момент говорит через всё и всех с бесконечной любовью: «Я ловил тебя всю жизнь и наконец поймал. Ничего не бойся, я с тобой и всегда буду с тобой». Он говорит: «Смотри, я в центре каждого кадра этого фильма. Это светлая сказка. Когда этот фильм закончится, все актеры, и даже дикие волки, пойдут домой».

Потом пришел Сказочник и рассказал Веронике историю про то, как ее прокляла Фея. Сказочник был самособирающейся сказкой, на которую изнутри смотрел Наблюдающий и

иногда подсказывал: «Сказочник здесь использует определенные приемы, посмотри, как это сделано».

Мама Вероники работала преподавателем английского, брала учеников на дом даже на даче. Вероника зашла в ее комнату и увидела лежащий на столе учебник английского. Девушка зачем-то подошла к нему и наугад открыла: перед глазами Вероники вдруг оказалась картинка, буквально повторяющая одну из картинок из «Спящей красавицы». Там была та самая страшная, старая Фея. Вероника испугалась, и начала собираться сказка. Эта Фея была иностранкой, скорее всего англичанкой, ведь Вероника в тот момент увидела ее в учебнике английского. И как раз за год до рождения Вероники ее мама ездила во время учебы на стажировку в Англию. Вероника прочитала когда-то попавшуюся в сети статью про английских сатанистов-оккультистов, и дальше сказка про Фею начала течь в сторону некоего ритуала, который тайно провели над мамой, когда она была в Лондоне, чтобы проклясть ее будущего ребенка. Существовало некое пророчество, будто русская женщина должна родить посвященное Дьяволу дитя, которое изменит мир, и приезжавших в Британию советских де-

вушек тайно посвящали Дьяволу: проводили в каком-то загородном особняке ритуал, зачитывая их имена. Девушки об этом ничего не знали, возвращались на родину, а когда у них рождались дети — они уже заведомо принадлежали Дьяволу. И кто-то из этих детей должен был стать самим Антихристом. Наблюдающий в это время показывал Веронике, что так работает встроенный плеймаркет: внимание цепляется за какую-то деталь и предлагает игру.

Эта сказка была похожа на дешевый мистический триллер, и Вероника внутренне сказала: «Не верю». И тут же возникла другая возможная сборка сказки. Фея, чей образ неслучайно был начертан в учебнике английского, не была англичанкой, она была преподавателем английского, как мама. И у нее были какие-то причины ненавидеть маму и проклясть ее будущего ребенка. Вероника вспомнила, что у мамы до рождения дочери была любовь с молодым человеком по имени Алексей. Он был сыном лучшей подруги Аллы Алексеевны. Та женщина как раз была преподавателем английского в одном вузе и когда-то помогла устроиться туда еще совсем молодой Вероникиной маме. Мама и Алексей собирались пожениться, но он заболел шизофренией, стал

вести себя странно и пугающе, и невеста в итоге ушла от него. Через некоторое время Алексей погиб. В голове у Вероники сложилась сказка о том, что его мать винила в этом несостоявшуюся невестку и прокляла ее и весь ее будущий род. Наблюдающий подсказал Веронике, что в этой сказке проступает история самой Аллы Алексеевны, двоюродной бабушки Вероники, профессора консерватории, которая тоже болела шизофренией, осталась бездетной и покончила с собой в пятьдесят лет.

В «Лебедином озере» тоже было про Веронику и Фею. Вероника танцевала белым лебедем Одеттой, а Фея черным — Одиллией. О — движение вширь, расширение круга. Д — прерывание. ЭТТА — легкость, полет, поддержка двойного Т, поднимающая в воздух, как перышко. После прерывания Одетта получила поддержку и полетела. В итоге излилось бесконечное благо — А. Ниспадающее с абсолютной высоты, связующее и одновременно отпускающее на свободу бытие, разомкнутое в своем ниспадении.

У Одиллии был другой путь. О, Д, дальше И — тонкий писк, движение по ломаной линии, зигзагами, вытянутые горизонтально губы. После

прерывания что-то сломалось и пошло больное долгое движение, *She was ILL*. ТТ не подхватили на крыльях неба, но прозвучали хрустальные колокольчики ЛьЛь. Она же Фея! И снова И, ведь у черных лебедей путь дольше, чем у белых. Они долго болеют, и в итоге приходит Я, ЙА. ЙА — это когда А возможно только через Й, Йод. Перед их А необходимо поставить грамматический символ Имени Божьего: без него они не смогут чисто пропеть свое А. Кое-кто когда-то давно так задал значения этого языка, несомненно из лучших побуждений. Черные лебеди слишком много говорят о себе Я, а белые лебеди просто любят — так считается. Но на самом деле обе они начали с О, и ничего особо хорошего в этом нет. Начавший с О, конечно, не может быть белым лебедем. Но для того чтобы был танец, белые лебеди нужны, и когда их нет — белым лебедем объявляется кто-то, кому больше идет белое.

Одетта и Одиллия являли собой прекрасную Од из «Песни о Роланде». Прекрасная *Odd* была такой девушкой, которая приходит в компанию, и все видят, что она очень красивая и очень странная, боятся к ней подойти, и она весь вечер сидит одиноко в углу. А если к ней кто-то подойдет — обязательно ответит невпопад. Вероника была

именно такой.

Дедушка Вероники был ученым-востоковедом, и в сарае на даче остался старый учебник санскрита. Мама ждала гостей, которых положили бы спать в сарае, — там стояли две кровати, стол со стульями, большое туалетное зеркало с темной резьбой конца XIX века, печь-голландка и полка с книгами. Дедушка, когда хотел уединиться, «переселялся» в сарай, работал там над книгами и статьями. Маленькая Вероника иногда, поднявшись на цыпочки, заглядывала в окно сарая снаружи: как там дедушка? Дедушка или работал, наклонившись над книгами и бумагами, или дремал в кровати под самым окном. В памяти у Вероники остался образ, как свет лежал на его лице и руках, почему-то скрещенных на груди, брови были густые, как у Брежнева, и один глаз был чуть-чуть приоткрыт — как будто для нее. Дедушка, конечно, не мог знать, что она сквозь окно смотрит на его сон, но как будто чувствовал ее всегда, и глаз, едва приоткрывшись, послал ей луч — блестку света на его лице, обращенную в сердце Вероники. Сказал ей: «Дедушка рядом. Все хорошо. Я отдохнуть прилег после обеда».

Вероника пошла прибраться в сарай, постелить белье для гостей. Ее взгляд задержался на книж-

ной полке. Она вспомнила о том, что на книгах можно гадать, и захотела обратиться через книгу к дедушке, который всегда во всем ей помогал, спросить его: что это за Фея? Дедушка ответил через учебник санскрита: *bhávat adát*. Чтобы правильно понять эти слова, нужна блестка света из приоткрытого глаза дедушки в его вечном сне. И Вероника поняла, что Фею зовут Ада́т.

Одетта-Одиллия-Од когда-то начиналась на А. Это значит, что она действительно была белым лебедем, но А прервалось Д. Возник АД. Потом продолжилось А, но уже помнящее о возможности прерывания, это значит, что АД остался и пришло Т, провод сверху, помогающий выжить в аду, необходимость выбора. Началась Од, Одетта, Одиллия и все такое.

В цифрах история этой Феи выглядит так: 1–2 — 1 — N + 1. А — 1, Д — 2, на двойке что-то случилось, произошло прерывание. Единица погибла. Двойка, естественно, тоже, ведь двойка — это было прерывание единицы. Настоящий числовой ряд на этом закончился, но дальше единица продолжилась в аду. И от нее пошел весь числовой ряд N + 1.

N + 1 — это Т, и тут же все возможности числовой

комбинаторики, неравномерные множественности и вероятности. В аду это называется попыткой спасти всех сущих и остановить бесконечное прирастание и самовоспроизведение изначальной поломки.

Если увидеть, что числовой ряд не N + 1, а N = 1, — будешь гораздо свободнее от многих глупостей.

Фея Ада́т — это полиция из ада. *Bhávat* — бывающий. *Adát* — бдящий. Ад — это бывает, и бесконечно оттуда бдят, о людях заботятся. А дедушка спит вечным сном праведников и в Боге жив вечно, глаз его приоткрыт. Может промельком оказаться и в аду, бывает, *bhávat*. Глаз приоткрыт, немножко бдит, *Adát*.



Приехала в гости мамина подруга тетя Наташа. Привезла вино и шарлотку. К вечеру должна была приехать вторая гостья, некая Аделина, с которой мама и тетя Наташа вместе учились, а сейчас она впервые за много лет приехала в Петербург из Красноярска. Там у Аделины был муж-генерал, устроивший ее в пресс-службу Управления ФСБ по Красноярскому краю.

Аделина оказалась очень высокой и гордой женщиной в красивом, нарядном, не совсем подходящем для дачи черно-синем платье, так что даже непонятно было, как она поместится на кровати в сарае и как можно такого человека, который, внимательно посмотрев на Веронику, сказал: «У тебя же дырочка на рукаве. Давай я тебе дам иголку с ниткой зашить, у меня всегда с собой», положить на ночь в ветхое, тесноватое, лишенное особых удобств и неидеально чистое помещение.

Вероника с самого начала чувствовала какую-то неловкость, разговаривая с Аделиной, а когда та сказала про иголку — девушке стало ясно, *Кто* перед ней. Конечно, это была Фея с иголкой из музыкальной книги, полиция из Ада, Одиллия-Адат. На это указывало и необычное платье, и имя, и место работы, и связь с английским языком и

маминой юностью.

Ночью Веронике приснился кошмар. Кто-то стучал в дверь, и еще было понятно, что этот кто-то скоро пройдет сквозь дверь. Вначале *они* стучат, а потом проходят сами. *Их* все равно не остановить. Это была Марианна, девочка, с которой они когда-то дружили и сильно поссорились в детском саду. Марианна стучала в дверь и жалобно плакала. Она пришла из ночи, но впускать ее в дом было нельзя. Вероника вышла на веранду, чтобы не дать Марианне пройти. Теперь Марианна — существо ночи. Она ходит с ночными феями по участку, они жалобно плачут, ненавидят и хотят убить, потому что в детском саду они погибли и остались детьми, не выросли и никогда не вырастут. Кто погиб в детском саду — падает в ночь. Их забирают в другой детский сад на левой стороне. Они могут по ночам ходить рядом с домами, которые находятся слева от дороги. Дом семьи Вероники был как раз слева от дороги, феям туда можно. Марианна прошла сквозь закрытую дверь. Вероника пыталась не пустить ее внутренним напряженным усилием, но демон оказался сильнее, хотя так не должно было быть. Марианна была страшная, от нее веяло нечеловеческой жутью и ненавистью, она

была маленькая, с тонкими ручками, но этими тонкими ручками она точно могла бы убить кого угодно. Проснуться от этого сна было почти невозможно, потому что основной барьер — входная дверь — не смог остановить дьявола. Вероника видела, что сейчас ее убьют. Но произошло нечто еще более страшное и странное. В доме спала мама, и Марианна, как слепая, пошла мимо Вероники вглубь дома, и Вероника поняла, что дьявол идет к маме. В этот момент крик Вероники «Мама! Мама!» смог пробить придавливающую и обездвиживающую, как какой-то страшный управляющий магнит, мощность демона.

На следующий день зашла соседка, старая-старая бабушка из рыжего дома с правой стороны дороги, маленькая, тоненькая, легкая как перышко, с рыжеватыми волосами, пушистыми, как одуванчик. Она принесла циновку, на которой была нарисована сказочная Фея в черно-синем платье с волшебной палочкой в руках. Сказала: «Я разбираю старые вещи, избавляюсь от лишнего. Может, вам пригодится такая циновка?»

В домах с правой стороны дороги темные Феи — это рисунки на циновках.

По дороге к рынку невысокий плотный лысый

мужчина, похожий на волшебника Гудвина, в изумрудно-зеленой кофте с оленями и снежинками, сказал своей дочери в джинсах и бейсболке с загадочной надписью *IT WAS ALLA DREAM*: «Фея улетит зимой». И Вероника поняла, что это относится к ней, Веронике, и значит, что Фея зимой ее оставит. Тут девушка в бейсболке вдруг, повернувшись к Веронике, сказала: «Да, так и было».

Пришла осень. Когда-то Вероника шла с мамой в первый раз в музыкальную школу. На асфальте кое-где лежали ярко-желтые листья, солнце светило в стекла, и слышалось с верхнего этажа, за стеклами, пение детей. Началась учеба в консерватории. На занятиях Веронике хотелось спать, удерживать внимание было трудно, голоса преподавателей доносились откуда-то издалека, сквозь толщу воды. Контакта с однокурсниками как такового не было, он и не казался нужным — а зачем? Детское пение изнутри света, из того первого утра, продолжало длиться, теперь оно длилось в консерватории. Оно всегда длится там, где поют вместе, а другого контакта, других отношений, кроме совместного звучания голосов и музыки, или совместной тишины, или внимания к голосу и музыке друга, было не нужно.

Фея продолжала прилетать, Сказочник продолжал складывать истории. Вероника с мамой приехали на дачу на выходные. Мама теперь все время ходила в черно-синей одежде — в цветах Феи. На даче продолжали цвести осенние хризантемы, астры, гладиолусы, лилии. Вероника погружалась в мир цветов. Она вдруг вспомнила, что в детстве, только научившись коряво писать печатными буквами, сочинила поэму, тоже коряво, детскую, топорщащуюся и угловатую. Поэма была — как будто впервые лепишь из глины или вырезаешь из дерева. Слова в сложении друг с другом обнаруживали силу и твердость, палочки букв едва удерживались напряжением руки, а поэма жила чувством, ритмом и фантазией. Это была поэма-сказка про отношения Фиалки и Розы. Фиалки и розы на даче сажал дедушка. Та фиалка из детства была фиолетовой с очень темными краями, тоже в цветах Феи. Розочка была нежно-розовой, это была сама Вероника. В поэме Фиалка была госпожой, которая заставляла Розу служить ей, а Роза не хотела, и они воевали. Это была баллада о войне между властной и коварной Фиалкой и нежной и чистой Розой. Вероника тогда прочитала свою поэму цветам, и они признали ее Великим Мастером. Сказали: «Ты

можешь недоступное нам, хотя каждый из нас — Великий Мастер. В каждом камушке на дороге и в каждой песчинке живет Великий, стоящий за гончарным кругом. Великий потому, что он чуть сдвинул завесу тьмы. В каждой крупинке вещества есть гончарная стойка. Когда-то кто-то встал за гончарную стойку впервые и создал кружку[6]. Тогда была только одна гончарная стойка. И за нее встал один из семерых, живших до творения. Он вообразил, что по кружке ходят люди, и они там появились. Остальные шестеро подрались, потому что каждый хотел тоже быть Творцом. Тогда седьмой брат построил для них из глины еще шесть гончарных стоек. И каждый встал за свою стойку, и все они тоже вообразили узоры на волшебной глине, о которых они мечтали. Потом они сделали Землю, и Солнце из глины, и Космос. Они долго стояли за своими стойками, а потом все легли спать на все воскресенье».

Вероника с детства знала, что у Великого Мастера должны быть синие глаза с черной каймой. Дедушка подарил ей книжку советского писателя Радия Погодина, и ей больше всего запомнился

---

[6] Примечания: 6

Рассказ про гончарные стойки основывается на повести моего сына Егора (7 лет) «Семь королей, семь земель, семь богов».

рассказ «Маков цвет». Там была фраза: «Красота — цветок с черной каймой». Еще там был мальчик Полувовка — ослепленный мастер, который видел лицо Бога. После того как Вероника прочитала эту сказку в семь лет, ее долго преследовали странные и страшные сны. Фараон повелел извлечь глаза Полувовки из глазниц и вставить вместо них синие драгоценные камни. Вероника понимала, что настоящий мастер всегда слепой, потому что его глаза видели то, что не могут вынести глаза человека. И такие слепые глаза представлялись ей видящими Бога и не видящими мир, смотрящими в никуда, синими, с черной каймой. Синие драгоценные камни в глазах Полувовки совместились у нее с цветком мака в названии рассказа. Мак тоже рос у них на участке, но дедушка сажал красные маки, хотя Вероника знала от него, что бывают и синие. Дедушка когда-то ездил от Института востоковедения в Гималаи, привез оттуда семена голубого мака, но вырастить его не получилось. Дедушка пытался создать нужные для цветка условия, но всходы погибли. Мак, который не смог вырастить даже дедушка, представлялся Веронике именно таким, как глаза Великого Мастера: синим, с черной каймой. Хотя она знала по обычным

красным макам, что черная у них не кайма, а сердцевинка.

В роду Вероники синие глаза были со стороны бабушки, от живших в деревне в Тульской области народных знахарок. Там они жили поколение за поколением и передавали свой дар от бабушки к внучке. Вероникиной бабушке ее бабушка дар не передала, а передала ее сестре Алле Алексеевне. У бабушки глаза были очень красивые, большие, но скорее голубые, чем синие, а у Аллы Алексеевны глаза были действительно синие с черной каймой, но Вероника никогда не слышала, чтобы она пользовалась этим даром. В разговорах о таких вещах она всегда давала понять, что ей это неблизко. С Вероникой Алла Алексеевна по просьбе мамы когда-то провела несколько уроков музыки для подготовки к музыкальной школе, но вскоре занятия прекратились, потому что Алла Алексеевна не очень умела общаться с маленькими детьми и предпочла порекомендовать Вероникиной маме свою приятельницу. У самой Вероники были глаза тоже большие и похожие на глаза бабушки и Аллы Алексеевны, но уже даже не голубые, а серые, но с большими лимбальными кольцами — черной каймой.

Черная кайма у синего цветка — это память о несотворенном, обводка бытия меоном. В тот миг, когда солнце еще не успело сесть, но уже взошло, се́рдца не успела коснуться тьма. И это память *Всегда*: нерукотворный сад, ниспадающий в белое, внутри того сна в детском поту и огромный мир цветов, бабочек, росы, пыльцы, былинок, во всеобщей любви творенья. Там живут маленькие для людей существа, но на самом деле их мир огромен. Для самых маленьких из них каждый наш холмик на ладони така-а-ая большая гора, а капля росы в чашечке люпина — это тако-о-ое необъятное море. Это жители Рая, маленькие *ни*, у них нет ничего своего. У них нет сущности. Существа *Не* слишком большие для Рая. Они отрицают данность и через отрицание мира утверждают свободу. Маленькие *ни* просто играют и радуются, они и претендовать не могут на отрицание, мерцают, как свет на паутинках. Самые маленькие из них самые бо́льшие, их мир самый распахнутый, самый чистый, самый свободный. Горы на небе, а небо везде куда глаза смотрят, и озёра белые в воздухе, огромные, и под радугой горшок с золотом, а радуга та на травинке пастушьей сумки.

Перед последними выходными сентября Веро-

ника услышала, что мама говорит по телефону тете Наташе: «Завтра приедет Ветер». Девушка не сразу вспомнила, что Ветер — это Витя Ветер, мамина первая любовь. Мама общалась с ним редко, в основном когда Вероника была маленькой, при Веронике обычно называла его дядя Витя, а в последние годы Вероника и вовсе ничего про него от мамы не слышала. Витя Ветер был когда-то ролевиком, как и мама. Они познакомились, когда маме было шестнадцать, на сделанной небольшой компанией друзей камерной ролевой игре — тусовке по «Бременским музыкантам». Мама играла главную роль — Принцессы, а Трубадуром должен был быть лидер этой тусовки, тоже шестнадцатилетний парнишка, который ухаживал за мамой, но он некстати заболел и в последний момент вместо него приехал его старший брат с гитарой, студент консерватории, сказал: «Ребята, всё ок. Трубадуром сегодня буду я». Это был Витя Ветер. Мама за него замуж не вышла, но помнила его всю жизнь. В консерватории Витя недоучился, бросил. «Дядя Витя приедет на выходные, — сказала мама, — он только вышел из госпиталя, его чуть не убило на войне». — «А ты давно знаешь?» — спросила Вероника. «Вчера позвонил», — ответила мама. «Это ты ведь про него говорила, что он

еще в 2014 году ополченцем туда ездил?» — «Да, потом вернулся. Ты и не помнишь, наверное, он к нам лет пять назад заходил, ты к Юле тогда в гости пошла, вы только поздороваться успели. Я и не знала, что он снова на войну поехал». — «Я помню. Он тогда с цветами был и с гитарой».

Ветер пришел, опираясь на костыль, и с гитарой на плече. Он выглядел постаревшим, с лицом опухшим и потемневшим, а пространство вокруг него было странное, смешанное. В этом пространстве как будто текло-переливалось: я воевал, я пришел с войны, я сильный и видел такое, что вам и не снилось, и одновременно — я свободный художник, я трубадур, я Ветер, я вольный странник, я для вас призрак. Взгляд у него был такой, что было непонятно, видит ли он других или смотрит кино в своей голове. Наверное, видел, но словно стесняясь своего видения, и переключался на кино, где было в основном про него, про войну и про прошлое. Улыбнулся маме как из-под речной воды: «Привет, Виона!» Вионой звали маму в той ролевой жизни, а в обычной жизни ее звали Ольгой.

Он очень сильно напился в тот вечер, Вероника с мамой вдвоем с трудом довели его до сарая. Весь

вечер он общался в основном с мамой. Вероника выходила в кухню редко и ненадолго. Она успела услышать, что про войну он говорит в основном, что всё плохо. И еще вдруг, уже выйдя за дверь, услышала странное. Он сказал маме: «Там черная дыра. Кротовая нора. Тра-ра-ра. Пропасть, и в ней звезда, а вокруг сон. Зачем я снова вернулся сюда? Здесь больше нет никого. И нет ничего». И нетрезво зашептал-запел, путая слова, что-то им знакомое из юности, стихотворение-песню девушки-барда, которую он когда-то любил, с которой они когда-то учились вместе, еще до Вионы, а потом эта поэтесса выбросилась из окна студенческого общежития, и он зачем-то бесконечно рассказывал Вионе о ней:

Там, где были дома, — полынь и чернобыльник:

и ветви деревьев — сведенные болью пальцы,

искалеченные руки, протянутые к небу,

Гэлломэ, Лаан Гэлломэ…

Если долго вглядываться в чашу черного мака,

начинает видеться лицо.

Черным маком стала душа:
но того цветка, того лица — нет.
...Кто здесь? Ты...
Никого здесь нет.
Это ночной туман, это ветер шепчет,
птица кричит вдалеке.
Глубока вода, как скорбь,
высоки — по грудь — полынные стебли,
горька роса —
слезы Лаан Гэлломэ.
Каменным крошевом обрушились кружевные мосты...
Так тихо-тихо...
Скорбь твоя, память твоя —
Лаан Ниэн...

Ничего больше не повторится.
Ничего нет. Никого нет.
И больше не будет.

Сухая горечь ветра — там.[7]

---

[7] Примечания: 7

Этот фрагмент составлен из строк «Черной книги Арды», авторы Элхэ Ниеннах и Иллет (Наталья Васильева, Наталия Некрасова).

И в этом напевном шепоте тайно длились другие, никогда не произнесенные вслух между ними строчки. Их знала только Ольга-Виона, которая тоже в те годы пробовала сочинять песни, похожие на стихи той поэтессы, о которой он бесконечно говорил. Про босоногого мальчишку, устроившегося на камне, смотрящего в небо. Мальчишку с глубокими и светлыми глазами мечтателя, для которого сны — только иная явь, *и тростниковая свирель в его руках поет протяжно, легко и горько, как весенний ветер…*[8]

В ту ночь Веронике приснился аквапарк в странном сумеречном свете. И было понятно, что это внутреннее море души. Рядом с ним был большой внутренний двор. И в нем оказался тот поезд из Мариуполя, который вчера среди прочих фоток Ветер показывал на телефоне. Этот поезд в Мариуполе просто стоял на рельсах, рядом с Азовским морем. Контрастный, резко выделяющийся на фоне серого моря и неба очень яркими, красивыми красками и при этом пострадавший от войны, поржавевший, с выбитыми стеклами. Это был самый красивый поезд на свете — поезд всего существования мира, вставший навеки. Во

---

[8] Примечания: 8
Оттуда же.

сне Вероники этот огромный поезд умещался в гораздо более маленьком пространстве внутреннего двора. Это было странно: поезд был больше, а двор меньше, но при этом поезд помещался там целиком и занимал только его часть, вдоль края. В этом дворе была осень, лежали желтые листья. А в центре двора была не то будка, не то ржавый остов машины, и на крыше этого сооружения или остова в центре цвели черные и синие маки. И это было все так красиво — ржавый поезд с выбитыми окнами, в которых отражается небо, и ковер желтых листьев, и черные и синие маки.

Последний раз съездили на дачу в Самайн: мама всегда говорила Веронике про дни Самайна и Бельтайна. Для нее это были полюса магического года, когда врата в мир духов наиболее открыты для людей. В эти дни она старалась быть на даче или хотя бы съездить в лес. Всю свою юность она ездила на праздники в лесу в эти дни с друзьями-ролевиками. Когда Вероника была маленькой, мама несколько раз брала и ее на эти лесные сборища, а потом перестала куда-либо ездить вообще. Если кто-то из старых друзей приглашал ее в такие компании, она обычно отвечала: «Устала я от всего этого». Песни сочинять она в основном тоже перестала, сочинила пару

песен за десять лет и спела их только для тети Наташи. В основном сидела дома и принимала учеников. Иногда приходили гости. У девочки было ощущение, что у мамы вообще вызывала тревогу необходимость куда-то ходить, кроме знакомых, давно обжитых мест: микрорайон в городе, парк рядом с домом, любимая дача, всегда ходить одними и теми же дорожками, знакомыми путями…

Вероника помнила палаточные лагеря, красивых необычных людей в волшебной одежде. У мамы было длинное зеленое платье, которое она сама сшила по найденным в книгах ирландским выкройкам XVI века. Были и другие платья эльфийских принцесс, волшебниц, фей… Вероника вдруг поняла, что тема с Феей в ее жизни пришла также из этого волшебного леса с Самайнами и Бельтайнами. Казалось бы, это было очевидно, но настолько разумелось само собой, что Вероника об этом даже никогда не думала.

Она вспомнила мамин рассказ про Самайн: в этот день меняется власть в мире Фей. Феи Благого двора уходят, летнюю красоту жизни покрывает тьма. Осень, зима, великая смерть, приводящая к власти других Детей Грёзы, фей

Неблагого двора. Момент перехода — разлом и встреча благих и неблагих. Летние белокурые феечки радовались, жили светло, бесконечно танцевали среди цветов. Но чем ближе подступала осень, тем грустнее они становились. Оттого позднее лето всегда наполнено неуловимой печалью, и очертания мира становятся прозрачней и ярче. Феечки чувствуют, что они устают, что скоро им пора спать, что весь их светлый хрустальный мир скоро погибнет, потому что другой, темный двор подходит все ближе и скоро они не смогут сопротивляться и должны будут уйти. С приходом осени все чаще светлые феечки засыпают среди опавших листьев, под кронами еще светлого леса. Приходит Самайн, и начинается страшное Волшебство черных фей, их безумие, отчаяние, ничем не ограниченная свобода, в воздухе носятся черные тени, рукава-крылья, звучат литании тьмы, и последние белокурые феечки замолкают, забывают про все и засыпают.

В те последние выходные на даче мама позвала Веронику погулять в Сыроежкин лес. В этой части леса традиционно было много грибов, и далеко не только сыроежки. Вероника с мамой зашли поглубже в лес и развели костер. С собой были бутерброды, печенье, чай и немного

ягодного ликера. День был светлый, мягкий, но воздух уже казался колким от холода. На полянке рядом с костром порхали осенние бабочки. «Прощай, солнце», — говорила большая сосна, под которой они сделали приют. — «Прощай, лето», — говорил мир. Маленькая бабочка села на руку Ольги-Вионы, как раз когда она открыла ликер и сделала пару глотков. Вероника в этот момент подумала, что бабочка тоже хочет пить, хочет сладкого ликера, а для мамы этот ликер как нектар из цветка для бабочки. И что впереди для этой бабочки — может быть, зимовка, а может быть, смерть. А в желтых осенних листьях под кронами облетающего леса спрятаны лица белокурых существ, заснувших посреди светлого дня радости и игры, который никогда не должен был закончиться. Сердцем они, конечно, чувствовали, что приходит конец, но также чувствовали, что этого просто не может быть, продолжали играть, танцевать, а потом ложились куда-нибудь отдохнуть и на миг закрывали глаза. Происходило это внутри разрушенной и навек застывшей вспышки, где бесконечно любящий Создатель всех снов, историй и сказок, у которого в час рожденья были волосы белые, как снег, и очи — белоснежные звезды, и хотя сам Он был мертв, и им, и Ему в

акафисте за Единоумершего обещали, что солнце зайдет лишь на миг и каждый вернется в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Продолжение следует

Александр Цыпкин

Верить и не думать
(Из цикла «Министерство Всего Хорошего»)

— **В**арвара, ну ты пойми, это совершенно другой размах бизнеса. Да, я понимаю, без меня ты сама всем управляешь, но, если мы объединимся, обещаю тебе в управленческие решения сильно не лезть, да и контроль все равно останется у тебя. Ты подумай, ведь ты что-то хочешь оставить Лизе, мощное и, главное, защищенное. Со мной это гарантированно.

— Да ладно Лизе… Ей всего семь лет.

— О, поверь мне, семь лет в семнадцать превратятся быстро, а потом и в двадцать семь, тридцать семь… И раз — уже нужно что-то ей оставлять. Молодость проходит, к сожалению. И ее, и наша с тобой тоже. Ну ладно, ты подумай.

— Подумаю, Игорь, подумаю.

Лиза сидела на берегу озера и смотрела за отражением облаков в неподвижной воде. Они напоминали ей то разных животных, то горы снега, то огромные грибы. В семь лет фантазия особо ничем не ограничена, и поэтому, где ре-

альность, а где иллюзия, Лиза не всегда могла осознать. Иногда Лиза воображала, что это она управляет изменениями белых гигантов: захочет — они плывут вправо, а передумает — стоят на месте или просто исчезают.

— Верни, пожалуйста, слона, зачем ты его убрала?

Лиза подпрыгнула. Рядом с ней присел мальчик, как ей показалось, если и старше нее, то на год, на нем были синие шорты и футболка, как раз со слонами.

— Откуда ты знаешь, что я играла с облаком-слоном? И вообще, откуда ты тут?

— Просто мне очень понравилось облако, и вдруг оно стало превращаться из слона в какую-то гору. А кроме тебя, тут никого нет. Я живу вот за тем пляжем. Пришел в гости.

Он указал рукой в сторону песчаного пятна справа от дома Лизиной мамы. До него расстояние не меньше километра, но изгиб берега позволял видеть с того места, где они сидели.

— Ничего себе… и тебе разрешают гулять так далеко одному?! — изумилась Лиза.

— Не разрешают, но бабушка думает, что я днем сплю, и сама идет спать, ну я и сбегаю. Только ты своей маме не рассказывай, а то она на меня

пожалуется.

— Не расскажу. А как ты сюда прошел? Тут же везде забор. — Лиза считала себя очень умной и наблюдательной.

Забор и правда выглядел масштабно. Мама Лизы, Варвара Глинская, трудилась крупным предпринимателем и могла себе позволить участок не только большой, но и с собственной береговой линией. По документам, конечно, было иначе, но в ряде случаев деньги меняют географию. Имение требовало ограды, и ее соорудили на века.

— А там у самого берега можно пролезть, в заборе дырка, только не говори никому.

— Не скажу. То есть и я выйти смогу?

— Сможешь. Но тебя будут искать и потом найдут мою дырку, и я не смогу к тебе приходить.

— А ты что, хочешь ко мне еще раз прийти?

— Конечно.

— А почему?

— Потому что ты умеешь играть с облаками.

Лиза рассмеялась.

— Дурак. Я же знаю, что не умею.

— Умеешь, просто не знаешь об этом. А я тебя научу. Смотри.

И мальчик направил руки на небо, как будто

ухватив облако пальцами, немного подвинул его, и Лиза с удивлением заметила, что облако движется в ту же сторону, куда его направил ее новый друг.

— Ух ты! Как ты это делаешь?!

— Ты просто должна верить, что облака у тебя в руке, и вежливо их попросить. Тем более облакам скучно и им очень нравится, когда с ними играют. Ты представляешь, как грустно быть облаком? Ходишь себе по небу и иногда гремишь и выливаешься на землю. Вот и вся жизнь.

Лиза попробовала сделать все то же, что и мальчик, и вдруг почувствовала, что ее пальцы утонули в чем-то мягком и влажном.

— Дорогое облако, извини, пожалуйста, что я тебе мешаю отдыхать, но ты можешь со мной поиграть и превратиться в гору?

Сначала облако было неподвижным, и Лиза чуть не расплакалась, но постепенно белая масса стала трансформироваться и вскоре превратилась в не совсем ровную пирамиду.

— Спасибо, облако!!!

Лизе показалось, что какой-то изгиб ее небесного собеседника стал похож на улыбку. Лиза опять заливисто рассмеялась.

— Мне пора домой, бабушка скоро проснется, —

сказал довольный своей ученицей мальчик.

— Меня Лиза зовут, а тебя как? — спросила девочка.

Мальчик замялся, а потом, стесняясь, ответил:

— Мне очень не нравится мое имя, называй меня просто — друг.

— Хорошо, друг, я буду тебя ждать и никому ни слова про тебя.

— Договорились, — сказал друг и побрел в сторону забора. Лиза даже подумывала его проводить, но отвлеклась на птицу, а друг уже скрылся в кустарнике.

Друг приходил не каждый день, но всегда знал, когда Лиза сидит одна на берегу. Как-то они кидали камни в озеро, и неожиданно мальчик взял Лизу за руку.

— Завтра вы собираетесь с мамой в парк аттракционов?

— Да… А как ты узнал? — Лизе было приятно, что он ее держит за руку, но вопрос ей не понравился.

— Не ходи туда, пожалуйста, — тревога послышалась в голосе мальчика.

— Почему?

Лиза давно мечтала об этой поездке и сама упросила маму потратить редкий выходной на

аттракционы.

— Просто я знаю, что туда идти не надо. Там случится беда.

— Откуда? — с грустью и недоверием спросила Лиза.

— Мне сказали облака…

— А они откуда знают? — Лиза не хотела пропускать аттракционы из-за каких-то облаков, а точнее, из-за мальчика, который их слышит.

— Просто верь мне, иногда нужно поверить своему другу, если ты, конечно, считаешь его другом.

Лиза решила не спорить, хотя слова мальчика ее не убедили.

— И как мне уговорить маму?

— Скажи, что ты хочешь играть дома или читать книжку.

Лиза еще больше озаботилась, она так долго ныла по поводу парка, что мама, которая обожала летом как можно больше времени проводить на озере, будет считать ее капризулей. Лиза целый день решала, верить мальчику или нет, — в конце концов, ему сказали какие-то облака… Но уже перед сном какое-то внутреннее чувство заставило ее предупредить маму, что она хочет завтра остаться дома.

— Что значит — не хочешь??? Почему??? — Варвара была в яростном недоумении.

— Мама, как назвать человека, который сначала хочет одного, а потом другого?

— Не знаю, сумасброд, — к недоумению добавилось раздражение.

— Как? Сума… что?

— Сумасброд, Лиза, но ты не такая. Что случилось? Давай рассказывай!

Лиза очень плохо умела врать, так получилось. Способность или склонность к обману ведь тоже иногда врожденное качество, равно как и наоборот. Она резко выпалила:

— У меня есть друг, и он мне сказал, что там случится какая-то беда.

Варвара поставила чашку с кофе на пол. Много что ее напрягло в вышеуказанном пресс-релизе. Например, друг у семилетней дочери, о котором она не знает. Друг, который видит будущее, и, наконец, само будущее. Петербург, как и в целом вся страна, рухнул в разного рода предсказателей, магов и чародеев. Варвара и сама, отметим, периодически пыталась установить с пространством эзотерические отношения, но то ли пространство не хотело, то ли проводники попадались непрофессиональные. А тут у дочери свой пророк.

Откуда? В сети Лизы не было.

— Я не поняла, что за друг?! И почему я про него слышу первый раз? Сколько ему лет?

Лиза пожала плечами.

— Он не говорил.

Варвара сразу представила себе какого-то очень взрослого друга и еще больше напряглась.

— Ну приблизительно!

Лиза сама испугалась, пожалела, что зачем-то сказала правду.

— Мама, я не знаю, но мне кажется, он еще в школу тоже не ходит.

Варвара окончательно растерялась.

— Он что, ребенок что ли?!

— Да, он наш сосед, иногда ко мне приходит в гости.

— Сосед??? Может, сын Виталия Ивановича… Нет, ему лет десять. Какой сосед, как его зовут???

— Он говорит, что ему не нравится его имя, и я его называю друг.

— А как этот друг к нам заходит?

Лиза вспомнила про тайну забора, но в таком напряжении не смогла придумать что-то, как бы ей показалось, достоверное.

— У нас в заборе есть дырка, и он через нее пролезает, но обещай, пожалуйста, что ты эту дырку

трогать не будешь.

— Обещаю, а когда он придет в следующий раз? Хочу познакомиться. И дырки у нас не может быть.

— Я не знаю, он не предупреждает. Он уходит из дома, когда его бабушка спит. Он живет в доме за пляжем.

— Интересно. Там же нет домов… Ну хорошо. Когда придет, позови меня.

— Мы же не поедем завтра?

— Лиз, ну ты реально хочешь из-за слов какого-то твоего друга отменить поездку, о которой ты мечтала?

— А вдруг он прав?

Варвара, с одной стороны, не хотела идти на поводу суеверий какого-то ребенка, а с другой — задумалась, что же это за ребенок такой и мало ли он реально что-то знает. Победила в итоге лень. Варвара не то чтобы поверила предсказанию, а просто решила провести день дома, раз так все удачно складывается. Тем более в понедельник она собиралась объявить о слиянии с компанией *DMNS investment*, и ей нужно было обсудить детали с акционером *DMNS investment* Игорем Аратовым.

— Не поедем, тем более мне лень. Спасибо тво-

ему другу.

На следующий день Варвара готовила Лизе блины и, прочитав новость в Телеграме, уронила половник с тестом на пол. В одном из каналов написали об аварии в парке аттракционов. Несколько десятков человек провисели вниз головой три часа. Многих отправили в больницу, одну девочку в тяжелом состоянии.

— Лиза, быстро показывай мне, где ты встречаешься со своим другом!

Варвара почувствовала, что происходит что-то странное.

— А блины? — не понимая, что с мамой, спросила Лиза.

— Потом!

Они пошли к берегу озера. Лиза издалека увидела сидящего на мостках друга.

— Мама, он тут!

Они пошли быстрее и вскоре оказались прямо у мальчика за спиной.

— Привет, друг! Я никуда не поехала!

Мальчик обернулся, увидел Лизу с мамой и ответил:

— Знаешь, как я рад! Это твоя мама, да?

— Да, она очень хочет познакомиться, — стесняясь, пробормотала Лиза. Она подумала, что

друг будет ругаться, раз она про него рассказала.

Варвара начала оборачиваться по сторонам и в какой-то момент даже пыталась себя разбудить. Кроме нее и дочери, на берегу никого не было, и с кем Лиза разговаривала, она понять не могла.

— Лиза… Лиза… тут нет никого.

Теперь настало время Лизы озадачиться, но друг словно почувствовал, что нужно начать с объяснений:

— Она меня не видит. Она же взрослая, а у них по-другому глаза устроены. Я тебе потом расскажу. Передай, пожалуйста, маме, что ей надо прийти одной в тот яблоневый сад, ее там ждут и что от этого зависит ее будущее, — голос у мальчика стал какой-то странный, взрослый, что ли, слишком серьезный для его внешности.

Лиза попробовала осознать происходящее и медленно повторила:

— Мама, друг сказал, что ты его не можешь видеть, но тебе нужно прийти в яблоневый сад, что тебя там ждут и что от этого зависит твое будущее.

Варвара почувствовала, как мурашки разбегаются по всему ее телу, и уже через два часа вышла из машины там, где грунтовка заканчивалась и в лес уходила только тропинка.

— Варвара Александровна, может, сходить с вами, лес все-таки, мало ли что?

Артем, который одновременно выполнял функции руководителя ее охраны и иногда, когда начальница просила лично, водителя, посмотрел по сторонам, а потом стал изучать отряд стоящих перед ним деревьев, из глубины которого, как ему показалось, на него кто-то смотрел.

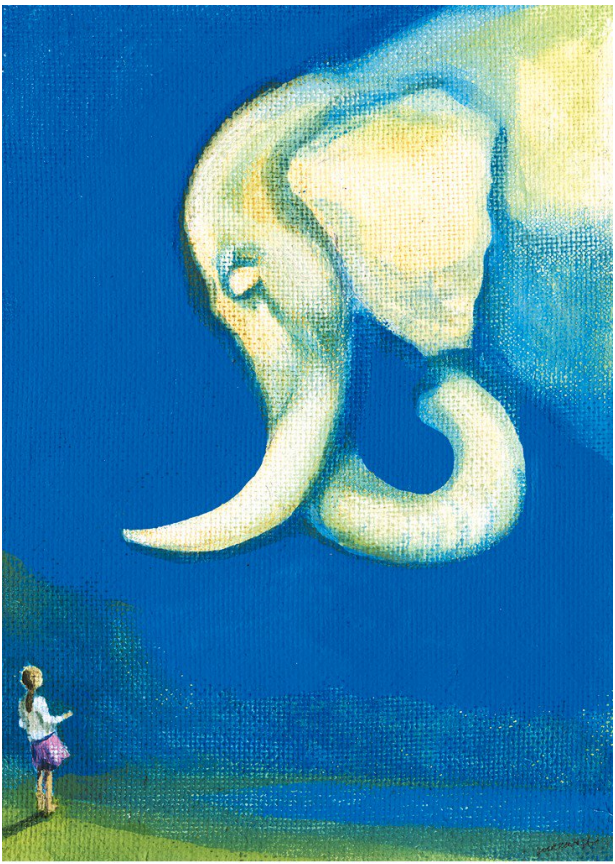
— Артем, боюсь, ты меня в этом лесу, если что, защитить не сможешь.

— Чего? — Артем прошел горячие точки и с тех пор потерял любой намек на страх.

— Это особенный лес, волшебный, тут живут злые и добрые духи, я иду встречаться с одним из них, у тебя есть оружие против духов?

Артем немного завис, посмотрел на начальницу с подозрением, но с ответом нашелся:

— Варвара Александровна, я два года с «духами» горными воевал, справлюсь и с лесными.



— А, точно, вы же их «духами» называли. Извини, не подумала о двойном значении. Да шучу я, просто это лес моего детства, я хочу немного побыть в уединении, за меня не переживай, тут одна тропинка. Я по ней часок погуляю, тем более ты уж точно увидишь, если кто-то подозрительный пойдет, но тут, кроме садоводов, никого нет, хотя садовод сам по себе всегда подозрительный, всю жизнь на грядки потратить. Жди меня здесь, в крайнем случае успею нажать *SOS* на телефоне, он тут берет вроде.

— А чего это вы вдруг решили по лесу детства погулять? Десять лет с вами, и что-то раньше этот лес интереса не вызывал.

— Старею. Ностальгия.

— Объяснение сомнительное, но как скажете.

Он еще раз всмотрелся в листву. Его не покидало ощущение, что они здесь не одни. Он вспомнил войну. Там интуиция работала на каких-то бешеных скоростях и не раз он чувствовал присутствие противника именно так, каким-то внутренним считывающим устройством. Никто никого не видел, а он знал, что идти дальше нельзя. Однако сейчас он списал это просто на то, что давно не был в лесу.

Через несколько минут Варвара скрылась из

виду. Она не помнила точно, где находился ее тайный яблоневый сад, но рассчитывала вспомнить опознавательные знаки, когда окажется в непосредственной близости. Да-да. Яблони в лесу. На Карельском перешейке в этом нет ничего удивительного. После Зимней войны в 1939–40-м Советскому Союзу отошли территории, на которых, как понятно, жили люди. Какие-то населенные пункты стали развиваться, а какие-то, в основном отдельно стоящие хутора или просто домишки, быстро пришли в запустение и исчезли. Их поглотил лес со всем хозяйством, в том числе с яблонями. И в итоге иногда посреди, казалось бы, чащи можно было вдруг наткнуться на дерево с кислыми мелкими плодами.

Варвара нашла свой секретный сад случайно, когда они с папой ходили за грибами и она заблудилась. Отец тогда перепугался до смерти. Еще бы, семилетний ребенок пропал, и два часа он не мог ее найти. Однако Варвара так же неожиданно появилась, как и пропала. Ниоткуда. Как она провела эти два часа, она никому не рассказала, так же как никому не рассказывала про сад, регулярно сбегала в него, как в волшебное место, и возвращалась чаще всего отягощенная проблемами с желудком. Недозрелые яблоки еще

никого не отпускали быстро. Варвара помнила, что в какой-то момент надо свернуть с тропинки и найти дерево с двумя стволами, потом перейти по непонятно кем сделанному мостику через ручей и, поднявшись на пригорок, спуститься в сторону ЛЭП, которые как раз будут видны. Но вот где сворачивать с тропинки… Она помнила, что от грунтовки тогда в детстве шла не более минут двадцати, и как раз столько показывал таймер, но, возможно, это были просто фантазии, а не воспоминания.

После очередного поворота она чуть не упала, так как не заметила лежащий поперек тропинки сухой ствол. Тонкие ветки из него торчали в разные стороны, и перешагнуть, не поцарапавшись, казалось достаточно проблематично. Варвара стала смотреть, с какой стороны обойти этот шлагбаум, и вдруг увидела метрах в десяти от нее то самое дерево с двумя стволами. Она вспомнила, что теперь надо идти от него так, чтобы два ствола оставались за спиной и перпендикулярно ей. Она добрела до ручья и еще через пару минут до мостика, которого, конечно, уже не должно было остаться, всё-таки двадцать пять лет прошло. Но Варвара недооценила надежность кем-то собранной конструкции.

Удивительно, переправа выглядела бессмысленной, вела из ниоткуда в никуда по сути, да и перепрыгнуть ручей не составляло труда, но тем не менее четыре скрепленных полена, хоть и изрядно подгнили, а одно вообще провалилось, в целом функцию выполняли. Еще через минут пять Варвара дошла до пригорка и вскоре очутилась среди яблоневых деревьев, которые уже практически вытолкали из среды обитания обычные березы и осины. Почему она пришла? Почему доверилась какому-то невидимому другу своей дочки? Да и дело даже не в мальчике, просто совсем недавно ей приснились эти самые яблони из детства, а во множественные совпадения она не верила, и тут еще это чудо с аттракционом, решила проверить до конца всё.

— Быстро нашла. — От неожиданности Варвара вскрикнула. Слева от нее стоял мужчина, плюс-минус ровесник, выше ее ростом, с тонкими чертами лица, чисто выбритый, с густыми черными волосами, в джинсах и ветровке.

— Вы кто?! О господи, как вы меня напугали!!

— Прости, Варя, не хотел.

— Откуда вы меня знаете?! Ах да… вы что, Он?

— Смотря кого вы называете — Он.

— Ну… я не знаю, как сказать… Все это сума-

сшествие какое-то… Хотя то, что вы тут… Вы мой ангел-хранитель?

И только тут Варвара обратила внимание на глаза незнакомца. Если смотреть прямо в них, то они начинали казаться многомерными и многослойными, как изображение в стоящих друг напротив друга зеркалах. Незнакомец заметил замешательство Варвары.

— Мне говорили, что глаза странно выглядят со стороны, жаль, не могу увидеть, как это, в зеркале всё нормально. И да, я тебя в некоторой степени охраняю, но нас называют не ангелами, я сотрудник Министерства Всего Хорошего, сразу предупрежу, это Министерство небесное, поэтому что-то общее с ангелами есть. А ты не помнишь ничего, да?..

— Нет… а что я должна помнить? Министерство Всего Хорошего… Интересно посмотреть на министра. А Всего Плохого Министерство тоже есть?

— Есть. Но это сейчас неважно. Давай вспоминай, мы здесь много времени проводили с тобой.

— Когда?

— Когда ты была маленькой.

Она посмотрела на сорокалетнего мужчину и начала думать о том, что забыла о чем-то ином, а не о контакте с ангелом.

— Варя, нет, я не извращенец, тем более ты же понимаешь, что мы ровесники, и, значит, я тоже был тогда маленьким.

— Да, я что-то плохо соображаю, и вы правы, я именно так и подумала почему-то, представила, как вы меня маленькую в лес водили.

— Да-да, и вот решил освежить воспоминания. Хочешь посмотреть, какими мы были тогда?

— Вы фотографию сделали?

— Ага, на небесный фотоаппарат и хранил все эти годы. Возьми меня за руку, твоя левая рука сцепляется с моей левой пальцами в замок. И телефон убери, селфи сделать не удастся. Камера такое не берет пока.

— Какой-то вы, конечно, странный для представителя высших сил, слово *селфи* знаете.

— Думаешь, я должен говорить на старославянском?

— Вроде того. А у вас имя есть?

— Дэ-4.

— Родители постарались?

— Нет, у нас всех сотрудников в Министерстве называют как клетки в шахматах. Не знаю, кто придумал.

— А ты пешка или королева?

— Смотря кто играет.

— Ну хорошо, Дэ-4, берите меня за руку как там надо.

Она почувствовала, как теплые и очень приятные на ощупь пальцы влились в ее, они как будто соединились сосудами и нервными окончаниями. Реальность вокруг стала терять четкость, она увидела воздух, хотя он оставался таким же прозрачным, как и раньше, на мгновение ей показалось, что все вокруг нарисовано и она внутри какой-то игры с очень высоким качеством картинки.

— Ну что, засомневалась в реальности всего тебя окружающего? — произнес голос ребенка.

Она посмотрела на Дэ-4 и увидела маленького мальчика, чье лицо моментально узнала.

— Это ты?! Это ты!!! Господи, это ты… Я вспомнила!! Я же… Я же ждала тебя тут! Ты… Почему ты не приходил больше?! Как… как я могла все это забыть?! — надрывающийся голос Варвары звучал иначе. Он был тоже детским. — Зеркало! Дай мне зеркало!! — закричала Варя, понимая, кого она в нем увидит.

— У меня нет, но ты можешь просто посмотреть мне в глаза.

Собравшись с силами и набрав полную грудь воздуха, Варвара посмотрела Дэ-4 прямо в зрачки.

Они моментально стали расширяться до размеров самой Варвары, и вскоре она поняла, что это она уменьшается и висит в воздухе, как мотылек, напротив глаз Дэ-4. В отражении она увидела маленькую девочку, ту самую, со своих детских фотографий. Ей было лет семь. Воспоминания стали, как вода в пробоину, мощно заливаться в ее голову. Точно! Она шла с отцом по лесу и вдруг ощутила какое-то невероятное притяжение, ноги летели сами собой, отец моментально исчез из поля зрения, и вот она уже тут, в яблонях, появляется мальчик, и они играют, а потом он выводит ее обратно к папе и объясняет, что будет приходить к ней иногда, когда ему будет очень одиноко, и рассказывать истории, а если ей самой захочется с ним увидеться, то она всегда может прийти сюда, и никто ее не обидит в лесу. И она приходила, в семь лет сбегала от бабушки с дедушкой, находя какие-то лазейки. И они разговаривали.

— Почему я тебя забыла? — спросила Варя.

— Потому, что дети всегда забывают нас, а мы можем к вам прийти взрослыми только один раз в жизни. И шанс этот мы бережем для особого случая. И то нужно как-то затащить человека в место первого контакта, либо уж совсем сильное

потрясение должно быть, чтобы ты всё вспомнила. Мы с тобой обошлись без потрясений. Хорошо, что ты свою Лизу послушала.

— А это ты с ней говорил, да? Ты предупредил про парк развлечений? Ты и ее охраняешь?

— Нет, я не могу, у нее другой сотрудник, но я его попросил что-нибудь придумать, чтобы ты пришла.

Варвара вновь стала одного размера с Дэ-4, который параллельно с разговором собирал из веток маленький шалаш.

— Почему ты не спрашиваешь, для чего я тебя позвал?

— Боюсь, если ты использовал единственную возможность в жизни мне помочь, значит, впереди беда какая-то, и мне страшно… С Лизой? Что-то случится с Лизой?! — с ужасом сказала Варвара.

Мальчик отвлекся от своих палок:

— Нет, с Лизой все хорошо, ну по моей информации, я же за тебя отвечаю. Короче, не сливайся с *DMNS investment*, они у тебя всё заберут, но что самое тяжелое — они хотят тебя посадить, а будешь ломаться в тюрьме, что угодно может случиться.

— Игорь?! Хочет меня посадить и даже убрать?

— Да, уже все готовы и проплачены. Помнишь,

он тебе решил проблему с налоговой? Вот через то дело. Но это имеет смысл, только если вы сделку заключите.

— Вот это поворот… А мне же снилось… Мне снилось! Игорь спускает на меня свою собаку.

— Конечно, снилось, я, честно говоря, устал к тебе в сны влезать. А вообще-то еще раз пять делал все возможное, чтобы у вас ничего не получилось.

— Что значит «делал все возможное»??? И что именно возможное ты делал?

— Ну, у нас есть кое-какие ресурсы, случайности всякие, переписку, помнишь, вашу жена Игоря прочитала? Моя работа. Телефон сам включился, но этот урод ей объяснил, что клеит тебя, чтобы кинуть. Потом еще на самолет два раза опоздала, все в ярости были, плюс с аудитом проблемы, с продажами в третьем квартале, с Роспотребнадзором… я, ты знаешь, вложился по полной. Пахал не покладая крыльев. Лучший сотрудник Министерства.

— То есть это ты мне весь год жизнь портил?? Ангел-хранитель называется! Точно сотрудник Министерства… как там… Всего Хорошего, да? Я думала, меня сглазил кто-то! А ты не мог сразу меня сюда вызвать?? А?

— А как?! Хорошо, с Лизой контакт установился. Да и потом, жаль единственный шанс тратить. Но когда понял, что сделка вот-вот, пришлось ускориться.

— То есть посадить решил… Игорь… А я ведь…

— Влюбилась, да? Бывает. Ну знаешь, Париж стоит мессы, а миллиард — любви.

— Но почему я должна тебе верить?

— Не должна. Свобода воли. Только назови мне хотя бы одну причину тебе врать?

Варвара, склонная к анализу всего и вся, попробовала найти иное объяснение, кроме правды, и не справилась.

— Согласна, ни одной. И как мне объяснить всё теперь Игорю? — Варвара пошла по проторенному дочерью пути не самых существенных вопросов в случае неуверенности в глобальном решении.

— Скажи, пришла в старый яблоневый сад и тебе призрак совет дал.

— А, хорошее объяснение, доходчивое. Дам интервью кому-нибудь и всё про тебя, Дэ-4, расскажу. Ну я серьезно!

— Придумай что-нибудь. Бизнес на миллиард как-то же построила.

— Мы больше не увидимся? — Варвара почув-

ствовала, как вновь держит Дэ-4 за руку. За его детскую руку.

— В этой жизни нет…

— А будет другая? Да? — с надеждой и осторожностью спросила Варя.

— А ты бы как хотела? — посмотрел на выглядывающее из-за верхушек деревьев солнце Дэ-4.

— Хороший вопрос. Не знаю, что меня пугает больше, что я умру, и не будет ничего, или что я умру и такое будет, чтобы лучше бы ничего не было. Так мы увидимся… ну, после?..

— Загляну к тебе на передержку.

— И надолго можно влететь между жизнями?

— Надолго. — Дэ-4 стал серьезен. — Родиться человеком — чудо. И большая редкость. Сотрудником Министерства проще.

— Да ты чего?! Почему??

— Только человек может быстро расти и развивать душу, потому что есть постоянный выбор между добром и злом, а у меня такого выбора нет…

— Разве ты не можешь причинить мне зло?

— Да, но выбираешь всегда ты. Я только могу в обстоятельствах что-то подсуропить, но выбор любить или ненавидеть — только за тобой. А мне некого ни любить, ни ненавидеть. Понимаешь?

Некого.

— Одиноко тебе? Без выбора?

— Бывает, но надеюсь еще человеком пожить. Хотя бы раз. Иди, тебе пора.

Варвара моргнула и не могла поднять веки, они налились какой-то чугунной тяжестью. А когда это у нее наконец получилось, Дэ-4 уже исчез. Варвара посмотрела на руки, они снова были взрослые. Часы показывали, что с того момента, как она вошла в сад, прошла едва минута. Дорога назад, как это часто бывает, заняла гораздо меньше времени. Что делать, Варвара не знала. С одной стороны, Дэ-4 звучал убедительно, а с другой, может, это все какая-то мощная галлюцинация или работа подсознания? Если не влезать в следку, то проблем еще больше. Бизнесу Варвары не хватало ни капитала, ни влияния для того, чтобы перейти на следующий уровень. Она решила как-то проверить, может ли Игорь сделать то, что ей предсказали, и только потом определяться, что делать. В размышлениях она вышла из леса. Артем стоял у машины и курил. Когда Варвара подошла к нему, то увидела, что у ее самурая высыхают слезы.

— Э, ты чего?!

— Что он вам сказал?

— Кто?

— Сотрудник.

По Варваре опять пробежались мурашки.

— Откуда ты?..

— Извините, я пошел за вами, просто чтобы… если что, быть рядом…

— И ты его видел?!

— Нет. Просто догадался по тому, что с вами происходило. Он использовал свой один раз, да?

— То есть ты знаешь всё? — Варвара опустилась на капот машины.

Артем отвернулся и сухо ответил:

— Знаю. Во время войны он меня из здания вывел, а потом это здание градами накрыло.

— Война… Потрясение! Точно! Он говорил, что нужно потрясение… А почему ты плакал?

— Я не всех успел вывести. Я не до конца поверил, понимаете, не до конца!! Замешкался. Про то, что мы заняли дом, не должен был знать никто. Просто предательство. Девять парней. Девять душ. А я бы успел, если бы не спорил. Пожалуйста, сделайте, как он сказал!! Иногда нужно просто верить и не думать. Я вас умоляю!

— Верить и не думать не получится… Сразу после того, как поверю, придется думать и всем нам. Артем, тут такое дело… скорее, придется

повоевать. С Игорем.

— Аратовым? А я не удивлен. Он мне никогда не нравился. И я вам об этом говорил, что сигналы нехорошие, что он мутит что-то с СК. Вы мне что сказали?

— Что ты параноик. Прости… сам знаешь, влюбившаяся баба так себе бизнесмен. А вот если верить и не думать, то ситуация такова: Игорь хочет после объединения меня посадить и затем отжать компанию. Это если верить, что сотрудник Министерства Всего Хорошего существует, и не думать, что меня ждет дурка. Правда, как и тебя тогда. Ты же в него веришь.

— Как писал Лао-цзы, с ума поодиночке сходят, это гриппом все вместе болеют.

— Поехали, Лао-цзы, поедим что-нибудь, общение с высшими силами столько энергии забирает. Хочется стейка с кровью с учетом того, что завтра начнется.

По дороге Варвара набрала Лизу.

— Лизочка, как у тебя дела? Ну хорошо, встретишь друга, передай ему привет от Дэ-4 и спроси так, между делом про курс доллара. Ты сидишь с ним?! Спросила? И чего? Какую странную вещь сказал? Что? Хранить в том, в чем собираешься тратить, и отстать от ребенка?.. Всё, пока. Его

зовут Аш-2? Да уж, не очень имя, согласна.

Артем громко засмеялся и прибавил газу.

Валерий Попов

Подарок Деда Мороза
(Рождественский рассказ)

1

Написать надо рождественский рассказ! Обстановка самая подходящая: огромная елка возле Гостиного двора, праздничная толпа, новогодняя распродажа. А вот, рассекая толпу, появился старый мой друг Саныч.

Нос красный у него давно, а теперь еще отпустил и серебряную бороду. Ну вылитый Дед Мороз. И уже понимая, за кого его принимают («Дедушка Мороз!» — крикнул маленький мальчик), Саныч заважничал окончательно.

— Как ты выглядишь? С паперти пришел?

Причем сам был одет в стиле раннего застоя. Дубленку пора уже было псу его подстилать.

— С Рождеством тебя!

— Рождество еще надо заслужить!

— Впервые об этом слышу. И чем же?

— Благими делами!

— Ну… только быстро. Душа горит!

— Надо привести тебя в божеский вид. Стыдно с тобой!

Алкоголь всегда у него вызывал манию величия.

— Помню один рождественский рассказ, — вставил слово и я. — Как один благодетель, накормив бродяг, падает сам в голодный обморок. Это не про тебя?

— Даже если и так! Идем.

Настраивает на высокий лад. И это прекрасно.

— О! Перчатки, гляди! Скидываемся, берем, и ты даришь мне левую, а я тебе — правую. И это — на всю жизнь!

— Не юродствуй! — он строго сказал. — Вот! Примерь!

— Но это же пальто!

Причем не пальто, а наказание! Но тут продавец подсуетился, тонкий психолог:

— Как все-таки замечательно, что такие люди еще есть! Которые помогают своим бедным друзьям!

Саныч приосанился, нос его засиял. И борода смотрелась неплохо. Ладно, пусть козыряет. И цена не катастрофическая. Сэкономит на песке для посыпки улиц — нынешняя должность это ему позволяет.

— А полуперденчик свой выкини, вон туда! — указал пальцем на урну.

— Упакуйте, пожалуйста! — я протянул свою курточку продавцу.

— Деньги, документы, мобильник! — напомнил продавец.

— А, да!

— Так берете? — продавец обращался уже ко мне, указывая на пальто.

— Что делать!

— Картой или наличными? — обратился продавец к Санычу.

— Наличными! — уже мрачно тот произнес.

И с каждой своей отданной купюрой мрачнел все больше и своего подлинного отношения ко мне уже не скрывал.

Наконец, мы вышли на воздух.

— Ну что? Обмоем трофей? — дружески предложил я.

Мой старинный и на сегодняшний день единственный друг нанес себе непоправимый материальный ущерб, купив мне пальто… и спасти его сейчас может лишь алкоголь. Но Саныча уже душила лютая злоба.

— А-а! Ты, как всегда, об одном! Горбатого могила исправит! — махнул на меня рукой.

— Вот! Замечательное местечко! — Я остановился.

— С дружками своими сюда ходи, в это замечательное местечко!

— Ладно… Веди ты.

И мы пришли с ним в заведение гораздо более скромное — я имею в виду уровень цен. Поведение же посетителей скромным не было.

— О! Саныч! И друга привел!

Можно было подумать, что он бывает здесь каждый день.

— За алкоголь плачу я! — я поспешил объявить.

— Ты уже заплатил за него… своей жизнью! — Саныч изрек.

— Извини! — я раскланялся перед Санычем. — …А вот это, пожалуй, более подходящий партнер для тебя!

У входа отдыхал «спортсмен» в легкой спортивной одежде, видимо бегун на очень дальние дистанции, судя по изношенности его одежды. Я снял мое… бывшее мое… а точнее — бывшее наше с Санычем пальто и бережно укрыл отдыхавшего…

— С Рождеством тебя! — крикнул я Сане, дошел до метро и посредством эскалатора низвергся в ад.

2

Проснулся в панике и поту. Первым делом, еще не открывая глаз (всегда так делаю, когда не отвечаю за вчерашнее), похлопал ладонью по тумбочке, и ладонь похолодела и замерла… Нету! Нету мобилы на правильном месте! И боюсь, что уже нигде… в пределах моего посягательства… некоторую неточность стиля в такую минуту, мне кажется, можно простить. А вдруг в курточке? Надежда встрепенулась… и умерла. Помню, как я курточку одевал в рукава в метро, выбросив упаковку… и курточка была… точно без мобильника. Определяю на вес. Одежда без мобилы совершенно не та. Помню в метро прилив паники, которую тут же подавил злобой. Как же, вернусь к ним, буду еще у бомжа мобильник отнимать! Тогда, в ярости, оценивал все так. Назад? Никогда! И вот это «никогда» наступило. Никогда больше я не возьму мой мобильник, неоднократно мной проклинаемый, в мою длань… Я сник. Сколько людей исчезло вместе с моим мобильником. Пока он был, казалось, что мы с ними еще увидимся. А теперь ясно: нет! Никогда! Никогда уже наступило.

Так и сидел, свесив ноги… Некуда спешить. В мобильнике вся жизнь была — как у Кощея

Бессмертного в игле. Не Бессмертный теперь! Жизнь закончилась. Все осталось… в ушедшем году. Мобильник, в общем-то, жалко… как и всю мою ушедшую с ним жизнь. Но, видимо, время наше пришло! Я сник.

— Так-так.

Пересел за стол. Мобильник, конечно, был уже частью тела, но… не последней же. Все остальное при мне! Со скрипом раскрыл ноутбук. Я, помнится, кому-то обещал рождественский рассказ? Вчера не сложился. Но ведь сегодня наступило! Мало ли чего в жизни было со мной… и все пригождалось. Была сама жизнь. Особенно до того, как наступило это засилье мобильников. И автомобилей. Но должно же еще что-то происходить!

В окошко глянул… И застонал. Еще вчера вот тут, под окном, занимая парковочное место, стояла снежная баба с носом-морковкой. И я, помню, обрадовался: есть еще в людях душа! Парковочным местом пожертвовали!.. Нет в людях души. Бабы нет. В лучшем случае — на помойке. Без головы… И снова стоит на парковочном месте железный конь, накрытый чехлом!

— Работать! Работать! — Я стучал кулаком. Вино в бокале морщилось. Вспомним прошлое Рождество.

3

Она шла типичной походкой манекенщицы, бодая бедрами воздух: глаз не отвести!

О! Тормознули вместе с ней: вагон третий! Вот это да!

— Девятнадцатое, — буркнул проводник, разглядев ее билетик и даже не взглянув на нее. Схватившись одной рукой за поручень, она гибко втянулась внутрь и — тут не было никаких сомнений — обернулась и улыбнулась! Сунув свой билет проводнику, я устремился за ней… Забыл, что буркнул этот толстяк, запихивая мой билет в кармашек своей сумы. Двадцать первое? В одном с ней купе? Не может быть! Я поравнялся с дверью, возле которой темнели в рамке цифры 19–22, затаив дыхание, заглянул в щель. Изогнувшись, разметав длинные волосы по плечам, она устанавливала свой крохотный рюкзачок на верхнюю полку, а на нижней, обалдело уставясь куда-то в район впалого ее живота, на двадцать первом месте сидел лысый лопоухий интеллигент, безвольно что-то лопоча вроде «…пожалуйста… разумеется…». Господи! Как же мне не везет! Лопоухому — счастье. Будет лопотать вместо того, чтобы сразу, энергично «под

микитки»! Иди… твой номер тридцать первый. Ну — ясное дело! — последняя дверь возле туалета. Дверь с глухим визгом отъехала… О, вот это твой вариант!

Худой, как палка, военный в чине капитана, лишь злобно глянувший в ответ на мое вежливое приветствие, прильнувшая к нему сдобная жена с гладкой прической, грустно кивнувшая мне в ответ. Весь проход занят громадным чемоданом, обвязанным веревками.

— Извините, это ваш чемодан?

Взгляд капитана был яростно устремлен куда-то вдаль — слов моих он явно не слышал. Жена кивнула наверх.

— А вам что, мешает? — свесился злобный старичок.

Я криво уселся. С трудом задвинул дверь, глядел в тусклое зеркало, идиотски подмигивая сам себе. Ничего! Стянул с верхней полки скатанный матрац, шерстяное одеяло, стреляющее в полутьме зарницами. Расстелил… Ничего! Как говорила моя бабушка: Христос терпел и нам велел! Ничего. Будет другая манекенщица… в другой жизни… Ничего!

Я потянулся к ночнику.

— Не включать! — вдруг рявкнул военный.

Словно от тока, я отдернул руку.

— Извините, — испуганно глядя на мужа, пробормотала жена.

Ну и соседушки! Пружины между вагонами заскрипели, рябые прямоугольники света, вытягиваясь, поползли по купе. Поехали. Я крутился так и сяк, пытаясь пристроить ноги… ложиться вроде пока что невежливо, раз напротив не спят. Буду тащить свой крест.

— Извините, — несколько осмелев, но все же поглядывая на мужа, заговорила женщина, — но, понимаете, такая ситуация… Десять лет с Виктором на Севере… от лейтенанта до капитана. Теперь — академию закончили. Думали — хоть теперь в город! Опять в тундру! Простите его…

— Ну конечно, — пролепетал я.

Перед очами моими вдруг свесились ноги в слегка спущенных носках, задергались, заелозили — старичок с верхней полки торопливо подтягивал порты, явно спеша спуститься, принять участие в душевном разговоре — как же без него?

— А я вот пять лет безвинно отсидел! — проговорил он, оказываясь рядом.

— Интересно! — проговорил я. И сразу вспотел… Что значит — «интересно»? Не то, наверное,

слово?

— Да уж интереснее некуда! — уцепился старичок. Он вытащил из шаровар платок, долго утирал губы, готовясь к рассказу.

Ну что же… я приготовился слушать… нести свой крест. Но хоть бы дали его спокойно нести! Дверь со скрипом отъехала, и явился проводник. Ни здрасте, ни извините! Он молча уселся, потеснив женщину. Все молчали. Он считал, что пояснения излишни, что все и так должны знать, зачем он пришел. Женщина, засуетившись, вытащила деньги… Ах да — за белье!

— Сколько уже теперь-то? Десять? Ох, мать ети! — бормотал старичок.

Я молча протянул деньги… Новая заморочка: проводник почему-то их не брал, даже не поднял руки… В карман ему, что ли, надо засовывать?

— Билет, — безжизненно произнес он.

— Но я же вам отдал его!

— Ты на каком месте сидишь?

— На… тридцать первом, — на всякий случай глянув на бирку, ответил я.

Он молча раскинул свою переметную суму, показал — в кармашке с цифрой «тридцать один» билета не было!

— Ну?..

— Я точно вам отдал билет!

— Ну так где же он?

— Не знаю… Может быть, мимо сунули?

— Я мимо не сую! Собирайся — на первой сойдешь.

— Не собираюсь.

— А это мы поглядим! — Проводник удалился.

Господи! Почему все наваливается на меня? «Агнец, берущий на себя все грехи мира»? С какой стати?

— …Так вот, — выдержав паузу по случаю постигшего меня горя, старичок продолжил. — Как было: брат приехал погостить ко мне. Так?

— Наверное, — неуверенно пробормотал я.

— Поехал уже его провожать. Ну выпили маленько, конечно, на ход ноги…

Пауза. Чувствую, он рассчитывает рассказывать всю ночь!

— Ну… дальше! — пытался как-то взбадривать его.

— Ну закемарили в зале ожидания…

«Это просто какая-то „Война и мир“! — подумал я. — Будет ли покой?»

— Проснулся я, чувствую — хочу курить. А в зале не дозволено. Пойду, думаю, на лестницу… и прихвачу с собой братнин чемодан, чтоб не

сперли. Спал, пузыри пускал… брат-то.

— Понимаю.

— Вышел с чемоданом на площадку, только задымил — тут же хватают! Не братнин чемодан оказался. Чужой!

— И что же?

— Пять лет! — проговорил он.

— Ну как же? — тут я даже взбеленился. — Надо было… все объяснить!

Дверь в купе с визгом отъехала.

— Ну давай… коли можешь… объясняй им! — вздохнул старикашка. Проводник появился, и не один.

Я с отчаянием глядел на «пришельцев» — два амбала-омоновца с сонными равнодушными мордами.

— Выходи! — просипел омоновец.

Я вышел в коридор и сразу оказался между ними, как в тесной расщелине. Один был усат, усы его свисали надо мною, другой был безусый, зато непрерывно жевал, челюсть его ходила туда-сюда.

— Ну… какие проблемы? — проговорил жующий.

Пятнистые их комбинезоны были сплошь утыканы какими-то наклейками, эмблемами,

бляхами, полученными, видимо, за смелость в борьбе с нами.

— Никаких проблем!

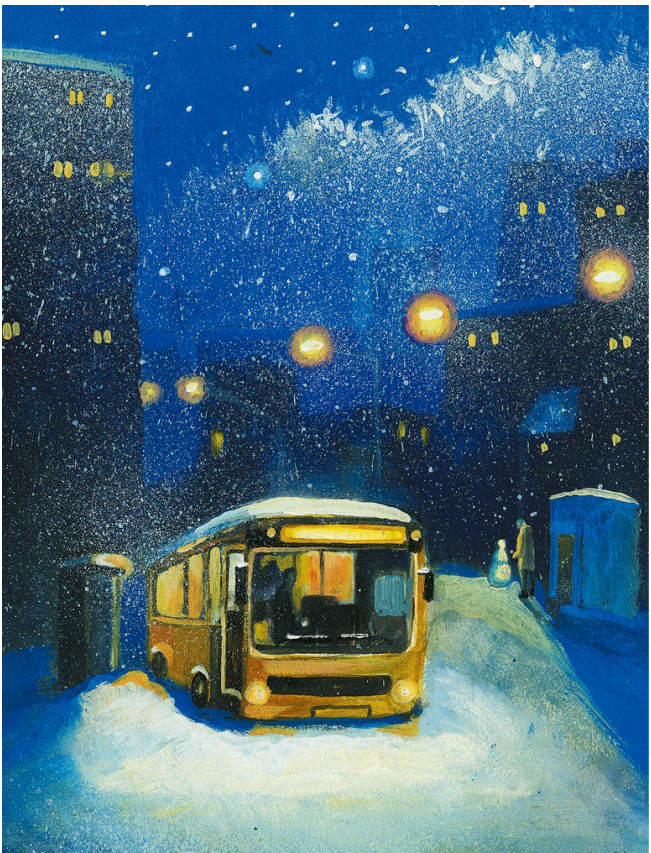
— Где билет?

— Отдал проводнику.

— А почему ж у него твоего билета нет?

— Понятия не имею.

— И бабок нету?



Я покачал головой.

— Собирайся!

Я вернулся и стал собираться.

Что же делать? Господь терпел — значит, и нам велел.

— Одним горохом питаюсь! — старик горячо обращался к военному с супругой. — Во, горох, — он пнул ногой чемодан. — Брату везу.

Все люди страдают, и часто — несправедливо. Почему ж для меня должно быть исключение? Я натянул плащ, кепку. Вагон, притормаживая, крупно затрясся. Мы въехали под гулкие желтые своды…

Дверь отъехала. Стояли мои центурионы.

— Ну… будьте счастливы! — сказал я моим спутникам. Впереди легионеров я шел по проходу. Все двери в купе были открыты, все уже знали о случившемся, с любопытством выглядывали, но никто не вылезал. Слава богу, хоть не кричали: «Распни его!» Прощальный взгляд моей красавицы… Всё! Мы вышли в тамбур. Дверь была распахнута. Что за станция? Даже платформы нет! Чуть в отдалении крутил синюю мигалку газик с милицейской полосой, а прямо внизу, у железных ступенек, стоял маленький коренастый милиционер с расплюснутым перебитым

носом.

Мы стояли над ним.

— Ну, где там наш клиент? — Он задрал голову. — Мои ребятки заждались! — он усмехнулся, открывая фиксы.

Мои почему-то медлили.

— Ладно… тут полюбовно всё уладили! — произнес усатый. Поезд, скрежеща, двинулся.

— Гостям всегда рады! — донеслось, уплывая, снизу, и пошла тьма.

Я не верил своим глазам… Что же это?

Усатый мотнул головой внутрь вагона: «Пошли!» Мы ушли с площадки, и он вдруг сдвинул дверь с табличкой «Проводник». На столике красовался роскошный натюрморт: крупно порубленная пышная колбаса, благоухающая чесноком, нарезанная селедочка, усыпанная полупрозрачными кольцами лука… Зеленоватая бутыль!

Усатый достал стакан, поставил… Четвертый. Мне?

— Спасибо! — пробормотал я.

Шмыгая носом, явился проводник. От шинели его приятно пахло холодом.

— Ну, давайте! — Он разлил по стаканам, оглядел всех строго, особенно меня. — За то, чтоб мы

всегда были людьми!

Я быстро закусил луком, и, наверное, от его едкости по щеке заструилась горячая слеза.

Проводник положил билетную сумку на сиденье, и вдруг я, как завороженный, уставился туда… Тридцать первая ячейка — вон она где, в самом низу, а мой билет — я вспомнил — он вставлял в середину. Вот же он! Господи! Двадцать первый! Я смахнул слезу.

— Ну ладно… чего расплакался, — пробурчал проводник. — Давай лучше по второй!

Двадцать первое! А я сел на тридцать первое, приняв на себя все эти муки. Зачем?

— А ты, наверное, думал, мы не люди! — проговорил безусый, чокаясь со мной.

Когда это я так думал?

Мы быстро выпили. Чувствовалось, что у всех накипело на душе и всем хотелось высказаться. Правда, то, что думал сейчас я, сказать никак было нельзя. Сказать, что ничего на самом деле нет и я еду обыкновенно, по билету? Большего плевка им в душу невозможно даже представить! Они только что помиловали зайца, и я им скажу, что я вовсе не заяц… Нет.

— Да, разговорчивый гость попался! — произнес усатый, и они засмеялись.

Действительно, что я сижу тут как пень?! Люди сделали добро, и хоть слов-то они заслуживают?

— Спасибо… вам.

— Разговорился, — произнес усатый, и они снова засмеялись.

«Ты… мастер слова! — мысленно проклинал я себя. — Можешь родить что-нибудь? Ну, давай!»

— Потратился, что ли, в Москве? — уютно усаживаясь, спросил проводник.

Мол, хотя бы увлекательным рассказом о московском загуле ты можешь нас ублажить?

Во ситуация! Любая история о любом безобразии будет здесь лучше, чем правда. Правда тут — самое худшее, что может быть. Любая ложь будет возвышеннее, чем правда. Я молчал, чувствуя себя Богом, который из ничего создал Храм Любви и Добра… Все закусывали луком, но, наверное, не только лишь поэтому слезы стояли у всех на глазах. И одним лишь словом могу все разрушить! Но зачем?

— Обокрали! — неожиданно даже для себя вымолвил я. Ну даешь, мастер слова! Я испугался.

— Где? — цепко спросил безусый.

Да, сюжет удачный, слушателей заинтересовал.

— В поезде! — с изумлением услышал я свой

голос. — По пути в Москву.

— Номер поезда какой? — спросил усатый, почти уже официально поправляя ремень и берет.

Да… Разговорился на свою голову! Мы все вместе летели в пропасть, и надо было успевать еще как-то рулить.

— Двадцать восьмой, — проговорил я, вспомнив историю, приключившуюся с моим другом. Что ж, и несчастья могут сгодиться, иначе куда их девать?

— Точно! — усатый торжествующе шлепнул себя по мощному колену. — Она! Какая из себя?

Так. Новая сложность.

— Ну… — произнес я.

— Ясно! — произнес безусый. Чувствовалось, что я им уже не нужен: вечер удался!

— Бутылочку со снотворным распили? — плотоядно улыбнулся проводник.

— Ну я же не знал, что со снотворным, — ответил я простодушно. Они радостно захохотали. Удачный ответ!

Уходя, я слышал за дверью возбужденные их голоса. Да, чувствую — с историей я им угодил. Моя красавица, стоя в коридоре, грустно глянула на меня: ну когда же?.. Работаем! Пока недосуг! Красавица вздохнула. С некоторым изумлением

она увидела слезы на моих щеках. Главное — чтоб людям было хорошо! И кстати, лопоухий наконец-то оказался рядом с ней и, тыкая в абсолютно темное окошко, что-то бубнил. И здесь все будет складно! Я прошел мимо в свое купе… Вернее — в чужое, но оказавшееся моим. Сдвинул дверь и ударился о запах. Да, питание одним горохом сказывается! Я мужественно сел. К тому же царь-горох у себя на верхней полке еще и храпел. И это еще не все!

— Витя! Ну угомонись! Ну что ты делаешь? — донесся жаркий шепот из темноты.

Ладно! Глубокий, освежающий сон! Сдвинув одеяло, стреляющее зарницами, я улегся.

— Витя… Что же ты со мной делаешь? О-о-о… Ви-итенька!

Да, в этом купе можно спать, только гороху наевшись!

Спасибо Вите, что хоть он не проронил ни звука.

— О-о-о-о-о… — с постепенным затиханием.

В купе наконец-то воцарились покой и блаженство, которые каким-то образом перетекли и в меня. Снова горячий шепот! Я вздрогнул.

— Ничего, Витенька… Не горюй! С такой машинкой, как у тебя, мы нигде не пропадем!

Вот это верно. Главный инструмент в хозяйстве всегда при них. Значит, и за них могу быть спокоен? Я начал засыпать под уютное покачивание. По коридору мимо, как дуновение ветерка, пронеслось: тихий, но довольно уже напористый басок лопоухого, хохоток красавицы. И за них, стало быть, можно быть спокойным? Все. Я рухнул в сон.

Проснулся я в купе, освещенном неподвижным солнцем. Стоим? Видно, мои добрые ангелы не решились даже меня будить. Я сладко потянулся, выглянул в коридор: из вагона выходили последние пассажиры. Я быстро собрался. На ходу увидел, что я, оказывается, не последний в вагоне: в своем купе крепко спал лопоухий… Счастливец!

— Я думал, ты навсегда решил остаться! — усмехнулся проводник.

— Нет, все… Спасибо вам.

— Помни мою доброту! С Рождеством тебя! — проговорил он почти величественно.

— И ты этот случай запомни! — сказал я.

Мы неожиданно обнялись…

Звонок!

Нет — не на перроне… Дома у меня. Дома я! Работаю! Обо всем прочем как-то забыл. Кого еще

черт принес?

Открываю — и входит кто-то. В знакомом пальто. Спортсмен! Бывший. Теперь уже солидный человек. Глазам своим не поверил.

— Вам кого?

— Мне адрес ваш дал… шеф… Велел передать.

— Что?

Он долго ковырялся в кармане. Сердце мое прыгало. Вдруг? Но он вытащил маленькую.

— Вот. Шеф приказал. Говорит — иначе помрет.

Так. Саныч гнет свою линию. Шеф!

Как бы ответить пообиднее? А впрочем — зачем? Я уже пережил обиды (сочинительство — лучшее лекарство), а теперь…

— Завязал, — сказал я. — Выпейте с ним. Ну как он?

— Отдыхает. Заночевали у него в гараже.

— Неслабо.

— На работу меня берет.

— …Видимо, ангелом? — съязвил я.

Гость поморщился:

— Ну почему сразу так?

Шеф, при его теперешних возможностях, взять может только скалывать лед. Так это и самое главное сейчас — все падают!

— Униформу обещал дать!

Задаривает всех, Дед Мороз!

Сказать гостю — отдай пальто? Выйдет неполиткорректно. Рождественские подарки не отнимают! И не передаривают… как я.

— Ну… с гордостью носи!

Он понял — про униформу. Хотя я-то прощался с пальто. Обшмонать его тоже не комильфо.

— Ну я пошел?

— Иди! — Я обнял его.

И тут нас пронзила… знакомая трель!

— О!

Он вытащил мой мобильник.

— Чей это?

— Мой! — я мягко вынул у него из руки. — Алло.

— С Рождеством тебя! — произнес Саныч.

Я гладил мобильник. Но наконец успокоился. Все же это не более чем орудие производства. А производство стоит. Конца-то у рассказа, что я сочиняю, еще нет. Работать! Работать!

…Я шел по платформе и вдруг впереди в толпе увидел ее! Она шла одна типичной раздолбанной походкой манекенщицы, так бодая воздух бедрами, что глаз не отвести. Вот она, моя Мария

Магдалина! Раз уж у меня так хорошо получается — спасу и ее! Не одних же легионеров должен я обращать к добру. Я прибавил ходу и почти уже догнал, но тут вдруг перед ней возникли мои омоновцы. Они вежливо расступились, пропуская ее, и вдруг взяли ее за руки с обеих сторон. С разбегу я чуть не налетел на них.

— Так. Где же хахаль-то твой? — глядя на нее, усмехнулся усатый. И повернулся к напарнику: — Пойди разбуди его.

Тот пошел к нашему вагону. Усатый тем временем спокойно обшмонал ее, вынул из сумки стеклянную трубочку с таблетками, встряхнул перед правым глазом.

— Этим, что ли, угощаешь? — спросил он.

— Это я сама употребляю! — неожиданно дерзко и хрипло проговорила она.

Из вагона показался напарник со встрепанным «счастливцем», изумленно хлопающим себя по карманам.

Да, видно, Мария Магдалина еще не созрела для святых дел, а мир еще далек от совершенства. Я вошел в вокзал. Красавицу повели.

— Милок! С тобой вроде ехали?

Я быстро обернулся. Царь-горох!

— С чемоданом-то не поможешь ли? Да тут

недалеко!

Всё! Я вышел прогуляться. Вышел на крыльцо и, чтобы шею размять, повернулся. О! Вот же она, снежная баба! На крыльцо ее отнесли. К той половинке двери, которая не открывается, поставили. Есть, оказывается, у людей душа! Стоит красавица, улыбается. Нос-морковку, правда, стырили у нее. Но морковь я куплю.

Елена Колина

Мартышон

Уезжали в метель. С точки зрения психологии места в машинах, следующих из Петербурга в Великий Устюг на встречу с Дедом Морозом, распределились так: в первой машине самое жуткое сочетание из всех возможных — холерики и меланхолик, во второй — флегматик и парочка неопознанных сангвиников. В ситуации стресса (а им предстоит стресс) холерик скачет, меланхолик плачет, а флегматик не замечает, что уже стресс… И вот этот учебник психологии несется сквозь метель.

ПЕРВАЯ МАШИНА, МАЗДА

Ляля Мартышон, умная девочка, 11 *лет.* Мартышон — это не фамилия. Ласковое детское прозвище Ляли — Мартышка, все зовут ее Мартышон, Мартышка звучит слишком официально.

Взгляды Мартышона на Новый год: Новый год — это испытание духа. Перед Новым годом все внутри поет и требует — чудо где?! Чудо-чудо-чудо, давай-давай! Но разве с этими людьми может быть хоть какое-нибудь новогоднее волшебство

и хоть какое, пусть плохонькое, чудо?.. С этими людьми может быть только оливье.

Ирка, умная девочка 43 *лет, подруга Ляли.* Ирка — писательница, в прессе ее называют «королева детектива». Выглядит Ирка, королева детектива, как немецкая кукла: нежная, хрупкая, пухлое личико, голубые глаза, смотрит так пристально и наивно, будто вы можете немедленно составить ее счастье, и вдруг — невинный взгляд мгновенно сменяется хищным: ага, вот это я сейчас за вами запишу и использую!

У Ирки и Ляли взаимовыгодная дружба. Ирка изучает Лялю как предмет «девочка» — подумывает в следующей книге сделать преступницей девочку-интриганку. Ирка, как Агата Кристи, считает, что дети не обязательно цветы жизни. Мартышон имеет в этой дружбе асимметричный интерес: она хочет быть объектом, а не субъектом. Глупо быть персонажем, когда можно быть писателем, создавать миры, делать с персонажами что захочешь! Мартышон изучает Ирку как предмет «литературное мастерство». Как в Иркиной голове рождается детективный сюжет? Как Ирка придумывает преступление и личность преступника? Ирка любезно дала Мартышону совет: начни с психологии, изучай окружающих

и сверяйся с учебником.

Иркино отношение к Новому году сформировалось в юности: Новый год — это экзамен. Если ты, к примеру, юная девушка и встречаешь Новый год с родителями у телевизора, значит, дело плохо: ты не состоялась как девушка и как человек. Новому году положено быть ярким, наполненным весельем, красками, гирляндами, конфетти, свечами, подарками, Дедами Морозами. Экзамен нужно сдать, поэтому Ирка едет в Великий Устюг.

Аркадий, 45 *лет, отец Ляли.* Высокий, красивый, с одухотворенным лицом. Меланхолик. Как психолог Мартышон объективно оценивает личность отца: в нем очень сильна женственная составляющая. Скромность, застенчивость, уступчивость, склонность подчиняться, любовь к природе и тихим радостям, а также ориентация на внутренние личностные мотивы. Мартышон не знает, есть ли у отца внутренние личностные мотивы, но раз в учебнике написано, значит, есть.

Взгляды Аркадия на Новый год: «Господи, опять?..»

Алена, 43 *года, жена Аркадия, мачеха Мартышона, холерик.* В детстве ее звали Зажигалка, и до

сих пор в ней горит внутренний огонь, ее всегда будто немного лихорадит. Алена хочет, чтобы все кружилось, мелькало, менялось быстро-быстро, еще быстрей, и Алене нужно во всей этой круговерти принять участие. От возбуждения часто лезет в гущу события, которое еще не началось. Отвечает на вопрос, который еще не задавали. Ирка начнет рассказывать завязку детектива, а Алена уже подскакивает — я знаю, знаю, кто убийца! Елку Алена покупает 1 декабря.

Для встречи Нового года Алена незаменима. Новый год без Алены будет тусклым, Новый год с Аленой полон сюрпризов, как и жизнь в целом. Алена проводит конкурсы, во всех конкурсах страстно стремится выиграть, организует беготню в маскарадных костюмах, поет караоке и так ярко выражает свои эмоции, что общий уровень счастья подскакивает до небес.

Шапка Деда Мороза — в ней Алена будет вручать подарки, бенгальские огни, петарды, конфетти, карнавальные костюмы, маски, призы для конкурсов. Шампанское, вино, пирог с капустой, мясо, рыба, сладкое, другие всевозможные продукты.

Оливье. В большой кастрюле едет все для оливье: картошка, морковь, буженина, огурцы

соленые и маринованные, яйца, майонез, сметана. Кто будет делать оливье? Только не Алена! Монотонная работа не для холерика, Алена все покромсает небрежно и сбежит, забыв положить горошек… Настоящий друг оливье — меланхолик. Аркадий все печально порежет и не забудет горошек. Горошек едет во второй машине, так вышло.

— …План такой, — бурлит Алена, у нее нет сил вытерпеть длинную дорогу, когда впереди столько радости, — приедем в коттедж, нарядим елку, сделаем оливье, поиграем в игры, проводим старый год, поиграем в фанты, подарим подарки, я проведу конкурсы… и танцы… и петарды! Ну а потом — встреча Нового года!

— У меня предчувствие, что метель усилится, — отвечает Аркадий, — дорогу занесет. Еще у меня предчувствие, что машина сломается… Мы взяли лекарства? Все лекарства или только некоторые?.. А если машина сломается, мы будем встречать Новый год на обочине… Ну хотя бы елку не нужно будет ставить.

У несведущего человека может возникнуть мысль — что за бред? Почему дорогу занесет, почему машина сломается? Почему лекарства?! Но Мартышон как психолог знает: почему-по-

чему — потому. Меланхолик любую ситуацию оценивает как тревожную. В учебнике написано: постоянный эмоциональный фон меланхолика — депрессия. Холерику трудно ждать, а меланхолику трудно жить, все, даже встреча Нового года, предстает перед ним окрашенным в безнадежно тоскливые тона.

Мартышон умная, от ума у нее ранний пубертат. «Посмотрим, чем этот брак закончится», — думает Мартышон. В учебнике написано, что доминантный холерик и нежный меланхолик самая невозможная пара. Уж кто-кто, а Мартышон знает это на практике: в ее семье холерик все время будто треплет меланхолика, а меланхолик жалобно выставляет локоть и бормочет «не трогай меня…».

Человека в пубертате все раздражают. Алена за то, что холерик, надоела хуже горькой редьки. Аркадий — за то, что он папа. Ирка говорит, для писателя-детективщика это даже хорошо, что все раздражают: разозлишься и отравишь кого-нибудь из второстепенных персонажей или задушишь.

— Учтите, я скоро устану, — предупредил Аркадий, — километров через семьдесят, может быть, раньше. В сущности, я утром проснулся уже

уставшим… Может ли быть, что я сегодня вообще не спал?..

Ночевали в Вологде: за один день до Великого Устюга не доехать. Утром Мартышон с Иркой гуляли вдвоем, рассматривали кружевные дома. Мартышон интересничала, говорила: зачем этот Новый год, волшебства ноль, чуда нет, детектива нет, изучать некого, наблюдать не за кем, смысла жизни нет, скучно. Ирка записала что-то за Мартышоном, но разговор о смысле жизни не поддержала.

Встретились со второй машиной и выехали в Великий Устюг праздновать Новый год. Мартышон пересела во вторую машину: во второй машине для психолога больше материала. Вторая машина просто учебное пособие по конфликтам.

ВТОРАЯ МАШИНА, РЕЙНДЖРОВЕР

Олег, 50 *лет, флегматик.* Внешне и внутренне напоминает асфальтовый каток: долго разогревается, тарахтит, разгоняется, а как поставит цель, его ничто не остановит. Видит всегда лишь одну цель, сейчас у Олега цель — ехать. Дело не в том, что он торопится встречать Новый год, — флегматику кажется, что всюду успеет, даже поезда

и самолеты говорят ему «не торопись, мы подождем», и Новый год подождет, — просто его цель сейчас — ехать.

Оттого, что в соседней машине первая жена Ирка и вторая жена, Алена, у Олега тепло на сердце. Олег и его бывшие жены считают друг друга близкими родственниками. Встречать Новый год всем вместе — давняя традиция. Страшно представить, сколько раз они слышали: «Высокие отношения…»

Нестандартная семейная ситуация будоражит пытливый ум Мартышона. На этот счет у нее имеется научное объяснение: Олег сохранил безмятежные отношения со своими бывшими женами, потому что он флегматик. Время для флегматика течет медленней, чем для остальных, ему кажется, что ничего не меняется, флегматик ни с кем не ссорится, если не ссорятся с ним, никуда не уходит, если его не просят уйти. Это хорошее объяснение, во всяком случае, другого объяснения у Мартышона нет.

Новый год для Олега — время внутриличностных конфликтов. В течение года в его душе царит гармония, но в преддверии Нового года он начинает вести себя странно. Как Дед Мороз, мечется по городу с мешком подарков, объезжа-

ет родственников, друзей, сотрудников, детей друзей, сотрудников детей, всех, кто нуждается в его средствах и внимании. Ему кажется, что он перед всеми виноват: не оказывает внимания, не исполняет родственный долг, не, не, не… Где бы он ни появился с виноватым лицом, повсюду его ругают: за то, что приходит только в Новый год, за то, что сейчас опоздал, за то, что уже уходит… Цель Олега перед Новым годом — избавиться от чувства вины, но чувство вины не уходит, а увеличивается.

Почему у Олега такой образ Нового года? Мартышону в общих чертах все ясно: детские комплексы, желание быть хорошим, стремление играть роль отца для всех. Но почему именно в Новый год? Мартышону есть о чем подумать.

Лёвочка, 7 лет, ребенок. Лёвочку всучили Олегу в одном из родственных домов: пришел без Лёвочки, ушел с Лёвочкой: ребенок попросился в гости к Деду Морозу, это святое. Мартышон сердится, что их с Лёвочкой называют «дети», хотя между ней и Лёвочкой бесконечные галактики. Кроме того, Лёвочка — идиот. Верит в Деда Мороза. Человеку семь, а он еще совсем ребенок! Сказать ему, что ли, что Деда Мороза не существует, или пожалеть дурачка?

То же, что и в первой машине, за исключением шапки Деда Мороза. Бенгальские огни, петарды, конфетти, карнавальные костюмы, маски, призы для конкурсов, шампанское, вино, пирог с капустой, мясо, рыба, сладкое, другие всевозможные продукты.

Горошек. Во второй машине едет горошек для оливье.

Ольга, новая жена, нескромная учительница. Неужели Ольга идет по важности после горошка?.. Она нетипичная «молодая жена» — не модель, не танцовщица бурлеска, а скромная учительница начальных классов. Всего раз — один лишь раз! — попросили Олега забрать Лёвочку из школы, и вот, пожалуйста, новая жена. В семье думают, что с Ольгиной стороны это не любовь, а ловкость, поэтому насмешливо называют Ольгу «нескромная учительница».

— Я не понимаю… — Ольга в который раз с намеком начинает и не заканчивает.

Тут Мартышону все ясно как день, и в учебник смотреть не нужно: между Ольгой и Олегом типичный межличностный конфликт из-за ограниченных ресурсов. Ольга считает, что любовь и внимание Олега — ценный ресурс. Считает, что этот ресурс принадлежит ей, а не прочим

второстепенным.

— …Дедулечка, Дед Мороз сам придет или мы пойдем к нему в гости? — Лёвочка, с заднего сиденья.

Мартышон оттачивает наблюдательность: при слове «дедулечка» Ольга дернулась, как карась на крючке. Неужели ей так трудно смириться, что ее главный и единственный мужчина чей-то дедулечка?

Мартышон вдруг устала думать обо всем, сделала из своего пуховика подушку, привалилась к окну, Лёвочка привалился к ней… А проснулась от крика «Ох, …!». И тут же — ледяная струя в лицо, мгновенно обжигающий холод, резкое торможение, — ткнулась головой в переднее сиденье, инстинктивно прижала к себе Лёвочку… Авария?!

Остановились на обочине, вышли из машин, стояли, изумленно рассматривали рейнджровер: вот это да!.. Нет лобового стекла. Лопнуло! Да так, будто его с размаха выбили кувалдой. В машине осколки и… и жуткий холод. Мороз прибывает. Как ехать дальше — 200 километров в мороз без лобового стекла?! Температура за бортом 27 градусов, чем ближе к Деду Морозу, тем морозней.

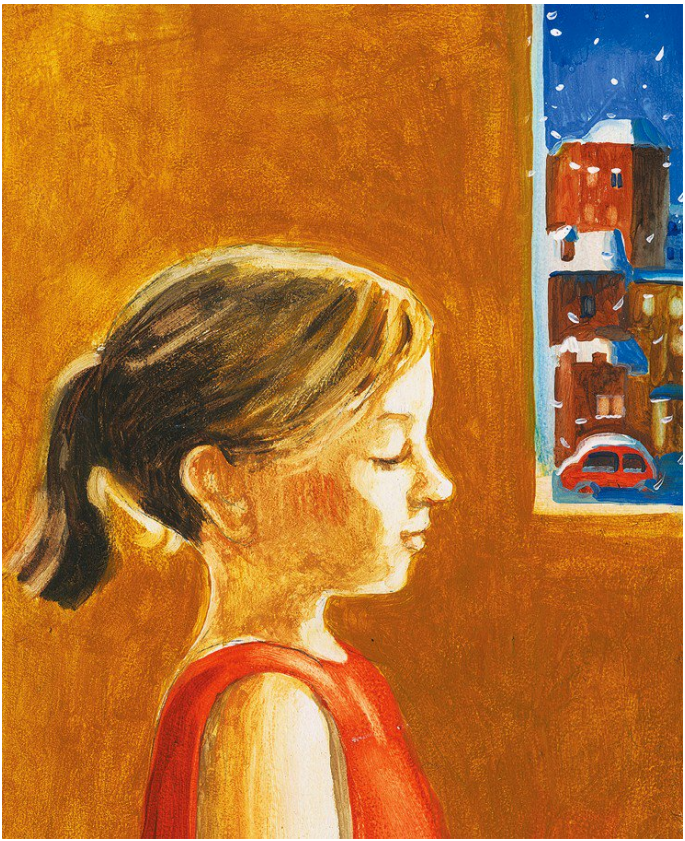
«Мы проехали меньшую половину дороги, оста-

лась другая половина, большая…» — произнес Аркадий. Все поняли, что он имеет в виду: нет ничего страшного в том, если они развернутся и поедут обратно. В Вологду, в отель. В безопасность.

…Меланхолик учитывает все опасности, но у флегматика была цель. Он едет дальше, со стеклом или без стекла.

Долго не думали, организовались мгновенно, по-военному. Командовала почему-то Ольга: женщины и дети поедут в мазде. Олег наденет на себя все имеющиеся шарфы и шапки и поведет рейнджровер. Ольга наденет на голову свитер и подвергнется тому же, что Олег, — ледяному ветру, морозу, метели.

Аркадий смотрел обреченно, понимая, что вопрос решен. Кто здесь мужчина? Он мужчина. Рядом с Олегом должен ехать он. Но… но ведь всё не так однозначно! Не в его машине лопнуло лобовое стекло. Олег сам поведет машину, не пустит его за руль. Какой смысл мерзнуть вдвоем?.. Однако бывают ситуации, когда отказаться от благородного поступка невозможно.



Ирка сняла с себя свитер — Ольге, и шарф — намотала на Олега, Мартышон отдала поровну — шарф отцу, шапку Олегу, а Лёвочка протянул варежки. Алена собирала Аркадия как на войну, он стоял как грустный Пьеро, пока она его обматывала. На Олеге и Аркадии по два свитера, два шарфа, две шапки и сверху шапок повязан шарф, торчат одни глаза. Конечно же, кто-то сказал, что Аркадий похож на пленного немца, а Олег похож на пленного Деда Мороза — Алена принесла из мазды шапку Деда Мороза, нацепила на Олега поверх всех шапок, надвинула по самые брови. Разошлись по машинам, в мазде Алена села за руль, крикнула Аркадию — все хорошо, ничего хуже уже случиться не может. «Не соглашусь, всегда есть куда хуже», — ответил Аркадий.

Сначала метель усилилась, потом кто-то в мазде закричал: «Ой, рейнджровер остановился!» Опять все высыпали на дорогу.

— …Он вдруг всхрюкнул, — объяснил Аркадий.

— Олег?

— Рейнджровер вдруг всхрюкнул и встал посреди дороги.

Все неприязненно посмотрели на рейнджровер. И правда, с ним одни неприятности.

Первое, что нужно сделать, — рейнджровер

убрать с дороги, сначала отбуксировать, а уж потом решать, что делать. Метрах в ста как раз оказался съезд на опушку. Но рядом локоть, да не укусишь, — как туда попасть? Мазда не годится, нужно остановить мощную машину, рейнджровер или лендкрузер.

И тут — удивительный научный факт, насколько каждый повел себя в соответствии со своим темпераментом!

Алена: бегает по дороге, отчаянно машет любой маленькой машинке. Холерик в стрессе бесполезен, возбуждение мешает холерику адекватно себя вести: маленькая машинка не сможет помочь, зачем же бежать навстречу, бросаться под колеса? Ни одна машина, между прочим, не остановилась…

Ольга: пытается вызвать эвакуатор, ни один номер не отвечает, она упорно продолжает звонить.

Аркадий: обнимает Лёвочку. Лёвочка боится волка. Аркадий не говорит ему «волки не выйдут на свет фар», его самого никогда не утешают факты и логика. Аркадий говорит «я все время буду с тобой», это утешает. У Аркадия нежная душа. Уж он-то знает, как одиноко может быть маленькому мальчику, ведь ему самому одиноко

приблизительно… всегда.

Лёвочку Аркадий успокоил, что же касается конкретной ситуации на дороге, тут он бессилен.

Олег: разбирает багажник. Зачем? Зачем выставил на дорогу горошек, расставил аккуратными рядами коробки — бенгальские огни, конфетти, петарды, пирог с капустой, шампанское, карнавальные костюмы, маски, призы для конкурсов? Оказывается, он поставил цель — разобрать багажник и достать запасное колесо. Олег, без сомнения, знает, что сломанной машине без надобности запасное колесо. Но он об этом не думает, он вообще ни о чем не думает… Флегматик в стрессе замирает, цепенеет, как жук на стекле. Совершить бесполезные трудозатратные действия — это способ флегматика оцепенеть.

Ирка: сидит в мазде, читает Платонова. Ирка действует логично, осмысленно, хладнокровно принимает решения. У нее в сумочке всегда лежит сборник Платонова, вот она и соорудила из Платонова баррикаду от общей суеты. Хотя, возможно, дело не в темпераменте, а в эгоизме.

Мартышон: думает. «Это же новогоднее волшебство: сначала стекло, потом метель, потом машина сломалась. Но этим людям разве есть дело до волшебства? У них в одной машине всё

для оливье, а в другой горошек. Первое, что они сделали, — горошек из рейнджровера перенесли в мазду. Зачем, чтобы все побыли вместе — картошка, морковка, яйца, огурцы, майонез и горошек?.. Разве эти люди могут наплевать на комфорт, оплаченный коттедж и оливье и просто порадоваться чуду? Даже встречать Новый год на обочине не кажется им романтичным!..»

Через три часа стало на три часа ближе к Новому году, потом на два, потом все окончательно потеряли надежду. Олег, обескураженный тем, что не все в мире ему подвластно, безнадежно дежурил на дороге. Женщины, дети и Аркадий сидели в мазде, иногда бессмысленно выскакивая на мороз. У всех красные носы. Все замотаны по уши. В метель, в лесу, человек быстро теряет красоту и одомашненность, становится диким. Лёвочка и Аркадий держались смело, не подавали вида, что боятся, Лёвочка — волка, Аркадий — что все простудятся: природу никто не отменял, ходить в туалет приходится на морозе… Вот опять Ирка, Мартышон и Лёвочка потянулись в лес. Алена крикнула вслед: «Мартышон, не вздумай писать на улице, тебе еще рожать». О господи, рожать!..

По пути Лёвочка развел целую теорию, что

люди в целом добрые, но не очень — ведь никто так и не остановился… А люди в больших машинах еще менее добрые, так велики ли их шансы встретить мощную добрую машину?..

В лесу долго возились с Лёвочкой, разматывали, потом обратно заматывали. Когда вернулись, Ирка подошла к Олегу — Олег в шапке Деда Мороза, сидя на корточках, что-то к своей машине прикручивал, — встала над ним и принялась сверху выговаривать: «Теперь ребенок разуверится в людях… Ты никогда не думаешь… Ты всегда так в себе уверен…» — и еще что-то ворчливое бубнила со словами «всегда» и «никогда». Олег слушал, сидя на корточках, затем поднял голову, снизу взглянул на Ирку, и — ой!..

— Ой… простите, здесь темно, а вы в шапке Деда Мороза, — светски сказала Ирка, будто они не посреди дороги, а на вечеринке.

А на дороге стоит джип «Патриот». С одной стороны, все просто, реальное положение дел таково: пока Лёвочку в туалет водили, наконец-то остановилась проезжая машина, джип «Патриот». С другой стороны, выглядит как чудо: вошли в лес в полном отчаянии, а вышли из леса — на дороге Дед Мороз прилаживает фаркоп.

«Патриот» взревел, зарычал — и потащил

рейнджровер. Все стоят, восхищенно смотрят — и быстро шмыг в мазду. «Патриот» втащил рейнджровер на опушку, мазда съехала вслед. Водитель «Патриота», спаситель, не только отбуксировал, но уже кому-то из местных позвонил: за ними приедут. Не сразу, конечно, встретят Новый год и часа в три ночи приедут. Им остается только ждать, здесь, на опушке.

А дальше произошло странное и даже отчасти неприличное. Все начали ссориться. Каждый успел сказать что-нибудь неприятное соседу справа, слева, напротив и наискосок (кроме Олега, который ничего не заметил).

— Я не так хотела встречать Новый год! Что я скажу маме? Как я объясню маме, что мы справляем Новый год с бывшими женами?.. — Ольга, не смогла сдержаться,

— Мы тут все культурные люди, культурные люди дружат со всеми. А ваша мама в своей деревне ничего не узнает, если вы ей не расскажете, — Алена, не смогла сдержаться, она сначала думает, потом говорит, потом переживает.

Вроде бы вежливо, но обидно. Алена намекнула на социальную пропасть между ними и Ольгой. Ирка, к примеру, из старой петербургской семьи, где связи не рвутся, а сохраняются. Ольга — из

другого круга, где с бывшими мужьями и женами бурно ссорятся навсегда.

— У нас с Олегом своя семья, а вы… вы картошку в оливье не кладете! — Ольга, у них с Иркой принципиальные расхождения в рецепте оливье.

— А давайте съедим ингредиенты оливье по отдельности? Пусть каждый съест то, что считает нужным для правильного рецепта, — Ирка, невинным голосом, с отработанной поколениями петербургской полуулыбкой.

— Кстати, между нами и вами у него была еще одна жена, если что, вы — четвертая, — Алена.

— Но для себя Ольга первая, — Ирка, примирительно, пытаясь быть объективной.

— А ты не лезь под руку, ты должна быть на моей стороне! — Алена не может остановиться, теряет самообладание. — Молчи и записывай за всеми, мы же для тебя подсобный материал!

— Ты думаешь, твоим друзьям и знакомым приятно обнаружить себя в твоих детективах в качестве убийц или маньяков? — Аркадий, холодно. — Надеюсь, меня это не коснется.

Ирка испуганно помотала головой — конечно, нет! В новой книге Ирка выписала чувствительного деликатного отравителя, отравившего бабушку ради портрета Лили Брик кисти Григо-

рьева. Ирка разбирается в истории живописи: портрет такой существовал и потерялся.

— Между прочим, я тоже совсем не так хотел встречать Новый год. За сотни километров от дома с неблизким по духу человеком, мне все это не нужно, и даже мучительно, во всем идти против себя, — Аркадий.

Аркадий намекает, что они с Олегом общаются по необходимости. Олег гедонист, любит жизнь во всех проявлениях: вкусную еду, быстрые машины. Аркадий гедонист в смысле духовных наслаждений: музыки, поэзии, живописи. Ресторан или музей, пляж или опера? Олег командует, Аркадий подчиняется. И это они еще не говорят о политике.

Мартышон не могла поверить своим глазам и ушам. Посреди дороги от всех требовалось только одно — держаться, и все держались. А теперь всё, приехали, ждите на опушке… Опушка — это не экстрим, а трудности. Экстрим — это круто, трудности — не круто, можно позволить себе ссориться из-за прототипов и оливье.

— Ах вот вы как? Думаете, я вот так хотела встречать Новый год?! У меня конкурсы, призы, я хотела веселиться! — Алена, уже почти плача.

— Знаете, что я вам скажу?.. Прекратите всё это.

У нас ребенок, — Ольга, решительно.

Все переглянулись — ах вот оно что, ребенок?..

— У нас Лёвочка. Ребенку нужен Новый год. Новый год через полчаса. Давайте встретим как люди.

Через полчаса?.. Мгновенно перестали ссориться, будто и не было ничего. Пошел мягкий снег, мороз немного спал. Водитель «Патриота» остался с ними. Хороший человек, ехал встречать Новый год в шапке Деда Мороза, спас их на дороге. На самом деле бросить их было бы… ну не обречь на смерть, конечно, но почти: рейнджровер давно превратился в большой холодильник, мазда не простоит заведенной несколько часов. Без него они просто замерзнут в лесу, а если он останется, греться будут в «Патриоте».

Разожгли костер, подтащили хороший пенек, на пеньке шампанское. Вокруг пенька сели в кружок, в рейнджровере и в «Патриоте» нашлись по два походных кресла, остальные присели на поваленное дерево.

— У нас просто связаны руки: в лесу ничего нельзя. Петарды нельзя, бенгальские огни нельзя… Оливье не сделать, — горестно перечисляла Алена. — Давайте хотя бы истории рассказывать. У кого какие были дорожные происшествия? Или

нет, лучше давайте про случаи, которые изменили жизнь. Или нет, лучше так: чего вы боялись, но это не случилось, а случилось совсем другое? А можно про чудо, у кого какое новогоднее чудо случалось. В общем, рассказывайте кто что хочет, только побыстрей.

Первым вызвался Лёвочка.

Лёвочкина история про то, как он боялся, но случилось совсем другое. Лёвочка хотел на Новый год игровую приставку и электровелосипед. Боялся, что если подарят велосипед, то игровую приставку уже не подарят. А если подарят приставку, то, наоборот, велосипед уже нет. Оказалось, он боялся зря. Ему подарили два велосипеда и две приставки.

— Зачем? — спросила Ляля немного завистливо.

— Мама боится, что я буду больше папу любить, папа боится, что маму. Мои родители развелись, и у меня теперь всего по два. Два велосипеда, две приставки, два звездных неба. Звездное небо вешают на потолок, лежишь, смотришь на звезды, думаешь, что совсем не того боялся. Надо было бояться, что родители разведутся.

— Его родители идиоты, я с ними разберусь! Я им покажу покупать по два! Я сам куплю ему все,

что он хочет! — рявкнул Олег.

Ольга сказала: «Третье звездное небо?» — обняла Лёвочку и принялась что-то ему шептать. Она учительница, должна знать, как объяснить Лёвочке развод.

Вроде бы ничего не случилось, и развод для всех дело обычное… но Лёвочка словно тронул какую-то ноту, и в каждом проснулось доброе. Но может быть, и нет, могла быть другая причина — лес, снег, костер. Звезды.

Рассказывали и даже не часто ходили в «Патриот» греться, будто грелись от собственной откровенности.

Олег рассказал, как в детстве однажды не получил подарок на Новый год, потому что его мама забыла сдать деньги на подарок, все получили, а он нет. Всем стало немного неловко, а он даже не понял, насколько открылся. Ирка шутливо погладила его по голове, Алена погладила его по голове, и Ольга погладила его по голове, их руки встретились.

Ирка застенчиво рассказала писательскую историю:

— Вот только что было: роман совсем не получается, и я думаю — а кому это вообще надо? Никому не надо. И в тот момент, когда уже ре-

шила все бросить, закрываю комп и думаю: «Моя жизнь кончена», получаю сообщение. Какая-то женщина пишет: читала ваши детективы в больнице, они меня спасли от депрессии. И у меня тут же сюжет пошел! Это же чудо! Не смейтесь, ну что вы смеетесь, вам не понять…

Ирке не поверили, смеялись: Ирка сто миллионов детективов написала, пусть не врет, подумаешь, чудо!..

Водитель «Патриота» рассказал свою историю. Его слушали вежливо, не перебивали, не смеялись, над незнакомцами-спасителями не смеются.

— Это было двадцать пять лет назад. Мы с моей невестой приехали в кемпинг. Поставили палатку. На соседнее место приехала компания, среди них была девушка, младше меня, почти подросток. Как описать ее? Она была в красном платье. У нее было такое лицо… Она смотрела на все с восторгом, распахнутыми глазами, как будто происходит что-то, чего она наконец-то дождалась. Помните Наташу Ростову в кино, на первом балу?.. Как объяснить? Меня не просто потянуло к хорошенькой девушке, это было другое, как будто я увидел ее душу. Мы не сказали друг другу ни слова. Потом она задремала, я смотрел на

нее. Знаете, я потом прочитал у одного писателя: «Никто не смотрит на спящих людей, но только у них бывают настоящие любимые лица…» Утром они уехали.

— А дальше что? Вы же не могли думать об этом всю жизнь? И думать, что это ваша судьба, а вы прошли мимо? — спросила Ольга.

— Дальше ничего. Но так ведь не бывает, увидеть кого-то случайно — и переменить свою жизнь… Конечно, я не думал об этом всю жизнь, но… У того же писателя сказано: «Достаточно чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца». …Если честно, мне до сих пор стыдно, — ответил водитель «Патриота» как послушный ученик начальной школы.

— За что же вам стыдно? — не отставала Ольга, вот же въедливая учительница.

Кто-то включил в телефоне музыку и после первых же тактов тактично выключил.

— Стыдно, что не решился рискнуть. Я, как разумный человек, боялся так легкомысленно поступить, но, если подумать, нужно было бояться проскучать всю оставшуюся жизнь.

Ирка сказала: «Да ладно вам, как говорит Платонов, на свете ничего нету хорошего и все дела известны… Вы увидели поэтичную девочку и

подумали — вот родственная душа, с которой вы будете счастливы. Но знаете, как у того же Платонова, „не расти, девочка, затоскуешь“… Она стала бы противной взрослой тетей, и все было бы то же самое». Вышло обидно, водитель «Патриота» смутился. Аркадий взглянул на Ирку с упреком — иногда писателю лучше писать, чем говорить.

У Аркадия столько историй, чего он боится, он не знает, с какой начать. Когда он начал рассказывать вторую историю, Ирка ушла греться в мазду и Мартышон за ней увязалась.

— Все глупые, да? — спросила Мартышон. — Все, кроме меня. У тебя было красное платье? Это ведь ты?

— Прошло двадцать пять лет, он забыл. Это мы приехали раньше, поставили палатку, а потом он приехал. На старом серебристом мерседесе, поцарапанном, будто его кошки драли. Места в кемпинге были отделены одно от другого веревочкой по щиколотку, место для машины и для палатки. Он вышел из машины, посмотрел на меня и замер, и я замерла. В его машине играла музыка из «Шербурских зонтиков». Представь: две машины рядом, две палатки, две замершие фигуры по обе стороны веревочки — нужно переступить через веревочку, всего один шаг, и будет

другая жизнь. Но ведь так не поступают, это нельзя, невозможно… Мы весь вечер были рядом, но не сказали друг другу ни слова. Он только один раз спросил, что я читаю, я молча показала книгу, я читала Платонова. А утром я вышла — машины нет, он уехал. Прошло двадцать пять лет, он забыл, что первый уехал.

— А ты сразу поняла, что это он?

— Да. Нет. Не знаю. Я подумала, что это просто совпадение — кемпинг, девочка, мало ли таких историй из юности… Когда он сказал из Платонова «никто не смотрит на спящих людей, но только у них бывают настоящие любимые лица», я поняла, что это он. Что он помнил обо мне все эти годы. Что из-за той встречи полюбил Платонова.

— У тебя сейчас лицо, как будто ты та девочка, которая ждет… Может быть, у тебя два лица, одно для всех, другое для него?

— Да ну, не придумывай, я не такая сентиментальная. А как ты догадалась, что это я? Давай, колись, мисс Марпл.

— Да ничего такого, просто наблюдательность и знание психологии, — скромно ответила Мартышон. — Ну, если ты просишь, я расскажу. Когда заиграла музыка, он так дернул ртом, я поняла, что эта музыка ему о чем-то говорит. Ну и все. Как

в детективе. Кто включил музыку, тот и преступник. То есть та девушка в красном платье. …А как ты думаешь, когда он понял, что это ты? Я думаю, он сразу тебя узнал, поэтому и остался.

Мартышон вдруг замолчала, пораженная важной мыслью.

— Ты ведь перепутала его с Олегом, он поднял голову, и посмотрел на тебя вблизи, и узнал тебя. А если бы он был в обычной шапке? Ты бы не подошла. Он бы и не узнал, что это ты, та девочка в красном платье. Он бы просто отбуксировал нас на опушку и уехал. Вот же где чудо, самое настоящее чудо — что он был в шапке Деда Мороза! Это как будто в детективе, да? Шапка Деда Мороза — находится на видном месте как совершенно обыденный предмет, а на самом деле — улика.

Но Ирку, кажется, не слишком интересовали Мартышонские домыслы и спекуляции.

— А у тебя были какие-то последствия этой встречи? Ты искала его, ты изменилась, навсегда разочаровалась в любви, он хотя бы тебе снился?

— Я стала писать детективы, — фыркнула Ирка и превратила свое лицо в лицо для всех. — Смотри: я ведь ничего о нем не знала. Если бы я не хлопала глазами по сторонам, то могла бы заметить какую-то деталь, которая помогла бы

его найти… Могла хотя бы номер машины запомнить! И я стала развивать в себе привычку в любой ситуации вычленять детали. Ну а когда начала писать, мне это пригодилось. В моей первой книге похожая история: случайная встреча и по деталям находят преступника. Ты разочарована, что я романтику превратила в преступление?

Если бы не та встреча, Ирка не стала бы королевой детективов?.. У Мартышона прямо мороз по коже. Вот как все в жизни может обернуться, сначала случается одно, а потом из этого выходит другое.

Эвакуатор приехал раньше, чем обещал. Бросились собираться, собирались долго, будто из отеля, в суете не заметили, что «Патриот» уехал. Сокрушались, что не поблагодарили как следует, даже телефон не записали. Пока взрослые собирались, Мартышон с Лёвочкой спали в мазде. И только когда все уселись в мазду, где стало невыносимо тесно, Мартышон проснулась и увидела — Ирки нет. Невероятно, но никто не всполошился. Кроме Олега, — ведь он совсем не знает этого человека, водителя «Патриота», что, если он похититель, маньяк? Олег даже порывался осмотреть следы на снегу, — может быть, Ирку тащили?.. Только флегматик может так долго не видеть, что

мир не такой, каким он его представлял.

Мартышон плакала, не от горя или обиды. Как бы банально это ни звучало, точнее не скажешь: Мартышон плакала от избытка чувств, у нее было слишком много чувств, чтобы они не вылились слезами. А как Мартышону не плакать? Она хоть и делала вид, что не ждет, все-таки ждала чуда, пусть не с ней самой, с кем-то рядом. Но как знать, с кем произойдет чудо? Вокруг металась целая толпа, и ничто не намекало, что Ирку, именно ее, судьба уже высветила из всей толпы, сказала — ты! Можно считать, что Мартышон плакала из-за огромности мира и отсутствия в нем сценариста или режиссера, который дал бы ей понять, что случится, с кем и когда. Ирка села в «Патриот» и уехала, словно та девочка с распахнутыми глазами двадцать пять лет назад.

Мы думаем: *этого* не может быть никогда, а это случается. Когда случилось, мы думаем: если уж *это* произошло, тогда абсолютно все может случиться… кроме, конечно, *вот этого*. А потом *вот это* случается, и так бесконечно.

Анна Матвеева

Чудо по Максу Фасмеру

Какое утешение, что на свете есть словари.

льюис кэрролл

Вчера в одной передаче посоветовали записывать каждый день то, что происходит — даже если не происходит ничего особенного. Записывать — и время от времени перечитывать. Человек из передачи обещал, что однажды из этих записей сложится «орнамент вашей жизни». Мне понравились и эта мысль, и сам человек: видно было, что на передачу он пришел не чтобы покрасоваться. Возможно, его туда долго заманивали.

Интересно было бы поговорить с таким человеком не в одностороннем порядке — когда выкрикиваешь что-то в ответ телевизору, — а сидя напротив, глядя в глаза.

Можно было бы написать ему письмо, но я, конечно, не стану. Мне кажется грубым беспокоить незнакомых людей.

Но записывать события дня попробую. Этот совет меня чем-то приободрил.

Сегодня у нас премьера мультика. Если верить описанию, в финале добро там побеждает зло после небольшой заминки. Зло перековывается, оставив про запас немного подлости, чтоб было о чем снимать продолжение. На такие мультики приходят целыми семьями, покупают попкорн ведрами и потом, естественно, оставляют его недоеденным в зале. Администратор Луняша (на самом деле она Марина, это я ее зову Луняшей — и за глаза, и за круглое бледное личико) забирает попкорн себе. Она и меня раньше пыталась угощать:

— Берите, Ирина Петровна!

Очень удивлялась, когда я отказывалась, а я удивлялась, почему она не понимает — ведь кто-то же ел этот попкорн, касался руками и так далее. Неужели пандемия ничему не научила Луняшу?

Кстати, вспоминать пандемию теперь неприлично, вы заметили? Все начинают прямо как-то ежиться и тут же переводят разговор на что-то более приемлемое.

— Ирина Петровна у нас брезгливая, — говорит Луняша, закидывая в рот горсть белых зерен, похожих на пенопласт. Она зовет меня по имени-отчеству с первого дня — я сдуру так

представилась, и потом только узнала, что здесь все обращаются друг к другу по имени: как на бейджах. Даже пенсионеры — просто «Людмила», «Тамара» и «Валентин».

Народу сегодня тьма-тьмущая, даром что вторник. Любопытно, когда эти люди работают? И если они не работают, откуда у них деньги на то, чтобы ходить в кино и покупать попкорн ведрами (а потом оставлять его в зале почти нетронутым)?

В сквере напротив моего дома появился трехэтажный шкафчик для книгообмена. Сегодня утром там уже лежали первые книжки — две духовного содержания и «Как закалялась сталь». Я зачем-то пролистала «Сталь», а потом вернула на место. У нас дома было точно такое издание — «Классики и современники».

Буду проверять шкафчик на пути с работы и на работу. Книги сейчас очень дорогие, а читать я люблю. Вот только у нас категорически запрещается читать и даже пользоваться телефонами. Со стороны кажется, что мы поневоле погружаемся здесь в свои мысли. Сначала меня это очень беспокоило, ведь даже самые невинные мысли, прямым или кружным маршрутом возвращали туда, где непереносимо. Просто вышвыривали

меня на берег, и все. В одном и том же месте. Но, к счастью, оказалось, что в торговом центре («торго́вике», по выражению Луняши) погружаться в мысли некогда. Перечень обязанностей контролера зала довольно обширен — измерять температуру воздуха в залах, проверять билеты (в большом зале — 350 мест, а всего залов — десять, а нас в смене — максимум трое), дважды пересчитывать посетителей (в начале и в конце сеанса), включать и выключать свет, смотреть, чтобы не снимали на камеру и не закидывали ноги на спинки впереди (не важно, в обуви или нет), не проносили в зал жирную пищу из ресторанов, не занимались сексом во время сеанса (мне, к счастью, пока что такое не выпадало — а вот Валентину уже трижды «повезло»), следить за соблюдением пожарной безопасности, осуществлять первичную уборку, если Ибрагим не успевает, и так далее. Ну и работаем мы по 12–14 часов в день. По договору — два на два, но на самом деле чаще дают только один день для отдыха. Поздние смены заканчиваются в половине третьего ночи, и еще час уходит на то, чтобы добраться до дома — такси развозит нас по очереди, а я живу дальше всех от торговика, в Тавррово. Праздников для нас не существует, потому что в

кино люди ходят даже в новогоднюю ночь. Хотя вот это меня как раз устраивает. Я всегда с охотой беру праздничные смены, и, кстати, за них еще приходится бороться с другими контролерами — такими же одинокими Людмилой, Тамарой и Валентином. Студенты, те, конечно, на праздничные дни не претендуют.

Администраторами в кино идут обычно или пенсионеры, или студенты, которым нужна подработка. Когда я сюда заявилась, на меня смотрели странно — сорок лет, высшее образование, не судимая, не калека (с виду, по крайней мере). Но расспрашивать меня никто ни о чем не стал, может, еще и поэтому я здесь так надолго задержалась.

Людскому равнодушию нет цены — жаль, что это мало кто понимает.

С утра выпал первый снег, и я хожу как пришибленная, хотя у нас тут ни окон, ни дверей, мы дневного света вообще не видим.

Давление, наверное.

В баре новенький — Кирилл. Вполне импозантный молодой человек, только ручки какие-то тоненькие. Зато все в татуировках. Пальцы чистенькие, гладкие, явно не держали ничего

тяжелее чайной ложечки. Луняша с новеньким кокетничает, я видела, как она пыталась его угощать попкорном («Сегодня сырный!»). Кирилл из вежливости взял горсточку. Или — не из вежливости.

Событие недели — после ночного сеанса в девятом зале пропал подстаканник в восьмом ряду.

Когда меня выписывали из больницы, доктор сказал:

— Вы должны обещать мне две вещи. Первое — регулярно принимать лекарства. Второе — работать. Хоть кем и хоть где. А остальное сделает время.

Но время не очень-то справляется. Как только я оказываюсь дома одна, меня снова выбрасывает на тот самый берег.

В уличном книжном шкафу пополнение. «Алкамен — театральный мальчик», «Введение в сектоведение» (первый лист выдран, видимо там был автограф автора, предназначенный тому, кто его выдрал) и «Обрыв» с обрывом первых сорока страниц.

Я полистала «Введение в сектоведение», но брать не стала, хотя вообще это довольно занятно. Как по-разному люди пытаются объяснить и

оправдать мир.

Не уверена, что однажды смогу читать так, как раньше, когда видела живые картины за словами. Теперь я вижу только слова, и они как будто бы заслоняют мысли — мои и автора. Слова как ставни на окнах, и я не могу их распахнуть.

Слова мешают, но если их не станет, мир схлопнется окончательно.

Из прошлого мне осталась привычка вглядываться в слова. Различать в них шум столетий, как выражался кто-то из университетских лекторов.

Доктор при первой встрече спросил, чем я занимаюсь, и я сказала, что была филологом. Это некоторое преувеличение, конечно, потому что диплом я так и не получила — влюбилась, вышла замуж, дети…

Так, всё.

Мама, когда была недовольна мной, говорила:

— Ну и чудо же ты, Иринка!

А муж звал меня коротким, как вспышка, имечком «Ирк».

Так, всё.

Люди со стороны думают (если сделать допущение, что они вообще о нас думают, что им интересны администраторы кинозалов), будто мы можем бесплатно смотреть кино в свое

удовольствие. На самом деле мы можем видеть одни и те же фрагменты одних и тех же картин. Заходим в залы в определенное время и пересчитываем людей по головам. Тут уж не до экрана. Лишь пару раз за все годы, что я здесь работаю, меня действительно цепляли какие-то фильмы — а ведь раньше я очень любила кино.

Так, всё.

То, что нынче показывают (крутят, как говорила мама), — это или ужасы, или мультики, или комедии, над которыми стыдно смеяться. По-настоящему хорошее кино удостаивают сеанса в неудобное время — рано утром или ночью. И лишь на несколько дней. Как будто прячут по-настоящему хорошее кино от зрителя — а вдруг почувствует вкус к подлинному искусству? Подлинное всегда опасно.

Сегодня я работала в ночь и вошла в шестой зал во время нового фильма немецкого режиссера-классика. Про уборщика туалетов в Японии.

Мне хватило минуты, чтобы понять: я должна увидеть этот фильм полностью. Он про одинокого человека, который спасается монотонной рутиной работы. Я как будто посмотрела на себя в зеркало и впервые за долгое время не захотела отвести взгляд.

Кирилл, наш новый бармен, сказал, что запишет этот фильм для меня — чтобы я принесла флешку.

— Но ведь это же пиратство, Кирилл, — возмутилась я.

Он рассмеялся:

— Успокойтесь, я не сидел в зале с камерой. Просто у меня есть кое-какие связи среди прокатчиков. Ну или можете купить билет в кино!

Я представила себе, как покупаю у Луняши билет, как Валентин отрывает у него «контрольку», как Ибрагим суетится в зале, собирая в совок просыпанные кем-то чипсы «начос»…

И через день принесла флешку.



— Чуда не произошло, — сказали мне тогда по телефону. — Увы, чуда не произошло.

Я помню, где стояла во время этих слов — в самом центре нашей новой кухни, под лампочкой, к которой мы еще не успели купить абажур. Я хотела именно абажур, мне нравилось само слово. Это из французского — *abat-jour*. Заимствовано во второй пол. XVIII в. Впервые зафиксировано в словаре Яновского 1803 г. со значением «окно, расширяющееся внутрь или наружу для усиления света». Глагол *abattre* переводится как «сбивать», «отражать», «ослаблять». Ослабить день… Ослабить хватку дня.

Пока меня не слишком-то вдохновляет орнамент, проступающий из моих записей.

Сегодня днем из третьего зала вышла совершенно лысая бабушка — и, щурясь после темноты, произнесла:

— Я в уборную. Вы же запомните меня, правда?

В первом перерыве (за смену у нас — два получасовых) обсуждала с Кириллом медитативный фильм про японского уборщика туалетов. Мы сошлись на том, что самое лучшее в кино, да, наверное, и в книгах тоже — это когда подробно раскрывают какую-то профессию, о которой

зритель не имеет представления. Все остальное — чувства, травмы, потери, находки, чудеса, даже преступления — уже сто раз показывалось и описывалось. Но профессий в мире такое множество, что кинематографисту можно отталкиваться каждый раз от новой и взлетать к высоте, где еще никто не бывал.

Кирилл сказал, что это отличная тема для статьи. Он учится на культуролога.

Посоветовал мне посмотреть фильм «Патерсон» про водителя автобуса, который пишет стихи и документалку французского режиссера Рукье «Бондарь». Про изготовителя бочек.

Если бы я продолжила учиться на филфаке, то специализировалась бы в этимологии, а скорее даже в топонимике. Название города (ойконим), где я теперь живу, трактуется по-разному — есть версия с птицей («*ворон*»), есть с цветом («*вороний*»). И есть ненаучная — что здесь сошлись сразу и ворон, и еж. Смехотворно.

Точно так же смехотворно думать о том, что я могла бы заниматься всем этим серьезно: полный рабочий день, с окладом и с радостью.

У вас ряд восемь, места пять и шесть, приятного просмотра!

Этимология — восхитительно неточная наука. Хороший этимолог всегда и во всем сомневается. И не верит в чудо, даже если оно случилось.

Сегодня день рождения у нашей директрисы. Луняша притащила откуда-то праздничные колпачки и заставила нас их надеть. Мне, к счастью, не хватило.

Снег падает и тает, снова падает и снова тает.

Не зима, а черт знает что, считает Валентин. В том году он хряпнул рюмочку перед 8 Марта и позвал меня на свидание. Но у меня не хватило духу даже посмеяться над этим как следует. Дело не в том, что Валентин лет на двадцать старше меня и выглядит совершенным стариком. А в том, что эта глава жизни для меня абсолютно точно закрыта. Самое отвратительное, на мой взгляд, зрелище — не рассыпанный между креслами попкорн и не извергнутое на пол содержимое чьего-то желудка, а явное взаимное влечение между немолодыми людьми. Они соприкасаются не только телами и мыслями, но и всем, что было с каждым до этой встречи. Прошлое одного встречается с прошлым другого и…

Лучше я уберу вместо Ибрагима блевотину в третьем зале.

В уличном книжном шкафчике — «Латышский детектив» в холстинковом переплете и «Французская волчица» Мориса Дрюона. Я взяла «Волчицу», а на пути со смены снова вернула ее в шкафчик — поняла, что не хочу это читать.

Мы с Кириллом почти подружились, и теперь я не замечаю его тоненьких ручек. Он очень неглуп. Ему двадцать, он полный ровесник моей…

Так, всё.

У нас работают люди разного возраста, достатка и социального происхождения. Мы то и дело покрываем и подменяем друг друга — и это учит нас проявлять терпение к людям того же возраста, происхождения и достатка в той небольшой части жизни, что остается после работы. Это примиряет с людьми и с жизнью вообще.

Могу проиллюстрировать свою глубокую мысль.

В маршрутке, которой я иногда езжу, часто встречается неприятная молодежь. Но я вспоминаю Кирилла, и эти развязные молодые люди уже не кажутся такими неприятными. А он, встретив в какой-нибудь очереди противную даму средних лет, подумает про меня — и не станет корчить ей вслед рожи.

Сегодня Валентин предложил отпустить меня со смены пораньше, и я согласилась — у меня вдруг появилась надежда на книжный шкаф.

Надежды шкаф не оправдал. Там лежали какие-то смятые газеты. «Волчицу» кто-то, естественно, забрал. Непонятно почему, но я вдруг о ней загрустила.

Ибрагим и другие уборщики торговика любят сидеть в темном закутке рядом с туалетами — они просто сидят там бесшумно и молча, подпитываясь незримой силой друг друга.

Как вы думаете, что чаще всего теряют люди в кинотеатре?

Перчатки (обычно одну), зонты, телефоны, кошельки. А еще — наушники, серьги (обычно одну), кольца и кредитные карты. У Луняши и ее сменщицы Светы есть целый ящик «потеряшек», но вы удивились бы, узнав, как редко люди приходят к нам за своими вещами. Большинство прощается с имуществом, легко отпуская утрату. Но мы храним всё это долгие годы.

Тамара однажды нашла после сеанса в пятом зале вставную челюсть. За ней вот, кстати, довольно быстро пришли. И за кошельками, конечно, приходят. И за кредитками, и за теле-

фонами.

Кирилл скинул мне на флешку фильм «Патерсон» и черновик своей статьи о профессиях в кино. Он отлично пишет! Но я бы кое-что подредактировала.

— Буду вам весьма признателен, — всплеснул ручками Кирилл. Все-таки они у него очень тоненькие.

В книжном шкафу сегодня — «Капитанская дочка» в тщедушной бумажной обложке и… И толстый том с золотой римской цифрой IV на переплете. Я еще не взяла его в руки, а сердце уже защемило от чуда встречи.

Когда-то давно у меня на столе красовались все четыре, но в другом издании. Багряно-красные обложки, окрашенные по-разному — с советскими книгами такое частенько случалось. Первый том — цвета борща, у второго — кирпичный оттенок, третий заставлял вспомнить запекшуюся кровь, четвертый — мороженую клюкву.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента РАН О. А. Трубачёва. Том IV (Т — Ящур).

Людей несведущих беспокоит национальность

Фасмера — он же немец! Да, немец. Немец, который знал русский язык лучше многих русских. Он вообще обладал сверхъестественными способностями к языкам — пожив в Эстонии, начал говорить и преподавать на эстонском. В Финляндии освоил финский, в Греции — диалекты греческого и албанский. И это, конечно, не всё.

Максимилиан Романович Фасмер — русская версия имени мальчика, родившегося в Санкт-Петербурге в 1886 году и получившего имя Макс Юлиус Фридрих. Он учился у Бодуэна де Куртенэ и Шахматова и был женат первым браком на дочери Бодуэна, Цезарии.

Многие представляют Фасмера ученым педантом, самым черствым в коробке сухарем, а у него были жены — даже две.

Наблюдала сегодня за попытками внука поднять с кресла бабушку. Это просторное кресло стоит у входа в седьмой зал, обычно там сидит кто-то из наших. Мы с Тамарой даже вдвоем там легко умещаемся. Бабушка с огромным трудом втиснулась в кресло, заполнив его целиком — она была весом центнера в полтора. И внук — лет тринадцать на вид — тоже такой, не худенький… Когда пришла пора идти в зал, мальчишка стал тянуть бабку за руку, как репу из земли. Но репа

никак не шла. Бабушка кряхтела, краснела, сопела, парень чуть не лопнул от натуги…

И главное, не поможешь ведь — во всяком случае, я не решилась предлагать свои услуги.

— Так и останусь здесь жить, — колыхалась от смеха бабушка.

Я трусливо ушла, чтобы не смотреть, чем у них все закончилось. Судя по тому, что кресло через час опустело, репу все-таки выдернули.

В кино часто приходят бабушки с внуками и родители с проблемными детьми. Много капризных, плохо воспитанных, много попросту больных или, как выражается Луняша, «подтекающих».

Зато они живы. Родители могут в любой момент обнять их.

Моя главная ошибка — в том, что я согласилась пересесть на другой рейс.

Мне не хватило места, чтобы погибнуть вместе с ними.

Так, всё.

Чуда не произошло.

Интересно, как Фасмер объясняет слово «чудо»?

«**чу́до** мн. чудеса́, чуде́сный, чуде́сить, чудно́й,

чу́дный, укр. чу́до, мн. чудеса́, блр. чу́до, др. — русск., ст. — слав. чоудо, род. п. чоудесе θαῦμα, те́рας (Клоц., Супр.), болг. чу́до, сербохорв. чу́до, мн. чу́да, чуде́са — то же, словен. čúdo, род. п. čúdesa, čúda „чудо“, слвц. čud, польск. cud, в. — луж. čwódo „чудо“ (вероятно, с экспрессивной дифтонгизацией). Древняя основа на — es-; предполагают связь по чередованию гласных и родство с греч. κῦδος „слава, честь“, разноступенная основа, как греч. πένθος: πάθος; сюда же греч. κῦδρός „славный“. Кроме того, сближают также с др. — инд. ā́-kūtiṣ ж. „умысел“, kavíṣ м. „учитель, мудрец“; см. Бецценбергер, BB 27, 145; Траутман, GGA, 1911, 247; BSW 132; И. Шмидт, Pluralb. 147; Мейе, ét. 357; Бернекер I, 161. Сюда же чу́ю, чу́ять, чуть, куде́сник (см.). Позднецслав. штоудо „чудо“, польск. cud — то же испытали влияние начала слова чужо́й и близких (см.), и это цслав. слово нельзя сравнивать с греч. στῦ́ω „поднимаю“, нем. staunen „изумлять(ся)“, вопреки Бернекеру (IF 10, 155; см. Брандт, РФВ 25, 29). См. также ю́до».

Во время Второй мировой войны Макс Фасмер жил в Берлине. Считал Гитлера антихристом и, чтобы не отвечать на нацистское приветствие, ходил на работу с двумя портфелями. Пытался помогать младшему брату Рихарду и матери,

оставшимся в Ленинграде. Макс переправлял им деньги, и это сыграло трагическую роль в судьбе Рихарда. Его сочли немецким шпионом, арестовали, сослали. Он умер в лагере, не дожив до пятидесяти.

Рихард был довольно известным ученым-ориенталистом, нумизматом, хранителем коллекции восточных монет Эрмитажа.

Когда мы пересчитываем людей в залах, это похоже на «кино в кино».

Все без исключения поворачивают к нам головы, действие на экране тем временем не останавливается, секунды ускользают от зрителя. Порой это те самые секунды, ради которых режиссер и снимал весь фильм.

Фильм продолжается. И так же точно продолжается жизнь — в независимости от того, обращаем ли мы на нее внимание.

Моя мама без всякого уважения относилась к фотографиям — могла запросто отстричь ножницами того, кто «испортил снимок».

И вот сейчас я чувствую себя отрезанной от групповой семейной фотографии. Но не потому, что плохо вышла, моргнула или зевнула.

У меня очень много вопросов к тому, кто при-

нял решение оставить меня жить дальше.

Точнее, у меня только один вопрос: зачем?

Рассказывала сегодня Кириллу про Фасмера. О том, как он ходил на работу с двумя портфелями и о том, как в его дом в Берлине попала фугасная бомба.

— А кто бомбил? — неожиданно заинтересовался Кирилл.

Я растерялась. Кто бомбил Берлин в 1945-м? Серьезно, Кирилл?

— Ну так, может, он все-таки ходил иногда с одним портфелем? Ладно, не делайте такое лицо, Ирина Петровна. Все было в порядке с вашим Фасмером.

На самом деле он сказал грубее.

Можно вспомнить моего доктора: когда он проникался симпатией к пациенту или родственнику пациента, то разговаривал исключительно матом. Это был знак доверия. А вот если человек не нравился доктору, он вел себя с ним крайне сдержанно.

Когда в дом Фасмера в Берлине попала фугасная бомба, он прятался в убежище. Каждый раз возвращаясь из убежища, Фасмер проверял свои книги — любовно собранную библиотеку, необ-

ходимую для работы над его главным детищем, этимологическим словарем русского языка. О, эти сложные библиотеки специалистов… После смерти ученых наследники от этих библиотек чаще всего избавляются. Они имеют ценность только для таких же специалистов — да и то не всегда.

Фасмер с облегчением увидел, что книги всё так же стоят на полках — но когда приблизился к ним и протянул руку к ближайшему корешку, тома рассыпались в пыль.

Я рассказала Кириллу и об этом, он тоже ответил историей:

— У моей тетки в Орске затопило дом во время наводнения. Книги в шкафах набрали столько воды, что выдавили стекла и сломали полки.

Кирилл внезапно уволился. У меня был выходной, и мы не успели попрощаться. Номер телефона он мне не оставил.

Да и зачем мне его номер телефона.

У меня будет смена в новогоднюю ночь. Работаем я и Валентин. Ура.

Словарь Фасмера в оригинале состоит из трех томов. В русском переводе он вырос на целый том. Я листаю четвертую книгу, как гербарий,

разглядываю слова, как орнамент. Меня успокаивает этот ритм, я хочу стать его частью.

Новогодние фильмы в этом году ничем не отличаются от прошлогодних. В супермаркете нашего торговика без остановки шпарит джингл беллз.

Приморозило, в уличном шкафу — пусто. Зима вступила в свои права, заявил Валентин.

В городе, где я жила раньше, вот там были настоящие зимы. Но об этом я не собираюсь рассказывать ни Валентину, ни кому-то еще.

Фасмер анализирует само слово, его происхождение, историю, связь со словами других языков. Понятие, которым обозначено слово, — это уже не к нему. Фасмер — этимолог, а не философ. Не стоит искать у него ответа на вопрос, что такое чудо — и вправе ли человек надеяться.

Обязано ли чудо быть непременно добрым, счастливым?

Это тоже не к Фасмеру.

Я довольно долго надеялась на чудо, которое любой другой человек счел бы кощунством. Понимала, что не смогу сама лишить себя жизни и надеялась, что смерть придет за мной, как за ребенком в детский сад. Скажет, ну давай уже собирайся, чего ты там копаешься?

Люди, которые знали меня раньше, люди из города настоящих зим, задавали немые вопросы: как же ты можешь жить после такого?

Они были как бы разочарованы мной, все эти прекрасные люди.

Они не удивились бы, если бы я наложила на себя руки.

Но я, как только задумывалась об этом, сразу же слышала тихое «Ирк». Будто кто-то чиркал спичкой — и в полном мраке вспыхивал слабый огонек.

Есть малюсенький шанс на то, что все они — муж, мама, дочь и сын — в одном месте. А я, уйдя по собственной воле, окажусь в другом.

Той, второй разлуки мне будет точно не перенести.

Наша работа — как чистилище. Надолго здесь задерживаются только те, кто сам не знает, куда хочет попасть.

Я хотела бы показать орнамент, проступивший из моих записей, своему доктору, но он, наверное, уже не помнит меня. Мало ли нас таких. И все же хочется верить, что помнит. Доктор возился со мной много месяцев подряд. Подбирал таблетки вдумчиво, как Фасмер — свою библиотеку.

Фасмер много месяцев не писал научных работ, восстанавливая утраченные книги.

Первое издание словаря вышло в 1950 году в Гейдельберге.

А русский перевод появился уже после мирной кончины Макса Фасмера в 1962 году.

Интересно, что я почти не помню лица своего доктора — хотя именно он посоветовал мне переехать в другой город. И взял слово, что я буду принимать таблетки и — обязательно! — работать. А остальное сделает время.

— Время творит чудеса, — сказал доктор.

Моя память приставила к белому халату лицо человека из телепередачи — человека, с которым я, наверное, хотела бы поговорить.

В новогоднюю ночь в кино приходят разные люди — и пьяные компании, и влюбленные пары, и одиночки, которым не с кем праздновать. В мусорках — мандариновая кожура и пустые бутылки из-под шампанского, пронесенного под полой. Какая-то девушка подарила мне шоколадку.

Не стоит думать, что в эту ночь произойдет нечто особенное — кто-то из зрителей потеряет кредитную карту на имя Макса Фасмера; или я увижу на входе в зал своего доктора; или артист

с экрана скажет вдруг те слова, которые я так хочу услышать; или Кирилл вдруг крикнет мне в спину — Ирина Петровна, я нашел вам еще один фильм того же плана!

Если я в чем и уверена, так это в том, что чудо невозможно спрогнозировать, организовать и оплатить заранее его доставку. Нужно лишь терпеливо ждать — как ждут фильма, ради которого стоит пойти в кино среди ночи. Книги, способной вернуть надежду. Того самого человека. И вечной, блаженной свободы.

С новым чудом!

Марина Степнова

Кот Блед

Кот пришел в день, когда исчез интернет.

Появился на дороге сам собой — огромный, черный, искрящийся, и степенно прошел в дом, щекотнув горячим боком голую Катичкину ногу. Они оба посторонились, чтобы не мешать. Боже, ну и зверюга! Катичка улыбнулась — первый раз за два месяца. Нет, за три.

За три месяца, четырнадцать дней, восемь часов, сорок пять минут.

Ты считаешь минуты?! Лучше бы канистры с бензином! Или макароны!

Он пожал плечами, пошел в дом за котом, подальше от Катички, от скандала. Канистры и макароны он тоже считал — шесть двадцатилитровых канистр, двадцать четыре четырехсотграммовые пачки пасты-пенне, Катичкиной любимой. Вообще он считал всё, привычка, дурацкая, как и положено привычке, и — опять же, как и положено привычке, успокаивающая. Катичка крикнула что-то обидное, как будто швырнула грязным комком, он непроизвольно пригнулся. Она стала непривычно вспыльчивая, гневливая. Лицо темнело, натягивались скулы,

она щурилась, словно выбирая, куда ударить, и неприятно было видеть и понимать, что скалится и непроизвольно скрючивает дергающиеся пальцы не Катичка даже, а кто-то другой, чужой внутри нее, не страшный, а жалкий, перепуганный и потому особенно опасный. Примат, балансирующий на спине ящерицы. Ящерица тоже не хотела умирать.

Да никто не хотел. Честно говоря, и он тоже.

Кот проинспектировал все комнаты, но вердикт оставил при себе.

Он ходил следом, пытаясь оценить дом с кошачьей точки зрения. Волгло, гулко. Пахнет пылью, влажным деревом, мышами, карамелью и яблоками — это от Катичкиных духов, утренней глазуньей с молотым перцем, дымом, домом. Пятна плесени на стенах — словно капнули чернила на промокашку. Зимой тут всегда сыро, они всё собирались заказать на «Амазоне» напольный деумидификатор, да пособирались.

Olimpia Splendid 01958, 4,5 звезд, 4645 оценок, 159,99 евро, бесплатная доставка *Prime*.

«Амазон» отвалился чуть ли не первый. Вообще большая логистика рухнула почти сразу, да все рухнуло почти сразу, хотя выглядело несокрушимым, незыблемым, не, не, не. А вот хлебная лавка

приезжала до сих пор, раз в неделю, совершенно пустая, но ведь — приезжала, как и было обещано в объявлении о продаже, вообще каждое слово в этом объявлении оказалось правдой, а они с Катичкой хохотали, как гиены, когда читали его в первый раз. Как гиены, как угорелые, как подорванные. Как угорелые подорванные гиены.

Три комнаты, четыре лестничных площадки, три с половиной этажа. Половинка — это чердак. Один этаж — одна комната. Трешка, поставленная на попа. На предпоследней лестничной площадке — ванная, которую Катичка называла — будка. Душ, раковина, унитаз, биде — все крошечное, как для гномов. Когда, простите, срешь, коленки до ушей. Пахнет хлоркой, химозным морским бризом из баллончика, еще каким-то ядреным очистителем, но на керамике все равно — ржавые потеки и плевки. Местная вода железная, но Катичка не сдается. Она чистюля. До сих пор.

Плинтуса везде отстают, штукатурка, больная, слабая, влажная, облетает тончайшими нежными пластами, даже лепестками — почти яблоневыми. Тут не растут. Жалко. Надо было, конечно, сделать ремонт, но местные ломили непотребно дорого, а научиться самим все было

недосуг. Они безрукие. Рукожопы. Фрустрированные городские невротики, как говорила Катичка. И смеялась.

Ничего, научимся, как выйдем на пенсию.

Нет, не выйдем.

На кухне кот задержался, посмотрел на холодильник. Выразительно уркнул. Ненормально большой, конечно. Чернющий, прямо непроницаемый. Яйца с кулак. Мышцы так и ходят. Глаза рыжие, круглые. Не глаза, а блюдца. Как в сказке Андерсена. Желтый томик, третий справа на нижней полке в их с Катичкой комнате. В Москве. Картинки кружевные, словно кто-то вел пером чернильную линию, не отрывая руки. Единственная уцелевшая книжка из детской библиотеки. Родители начали собирать еще до того, как он родился. Мечтали, что он будет тихим воспитанным книгочеем. Но он, честно говоря, не особо, цифры были интереснее. Мама сперва боролась, потом злилась, потом долго надеялась на внуков, хоть детям твоим пригодится, раз сам дурак, а потом обиделась, она очень умела обижаться, и всё раздарила, раздала — книжки, игрушки, даже его первого зайца, голубого, старенького, родного. Сама же потом плакала, жалела. А вот Андерсен как-то приблудился, переехав с ним

примерно десять? Нет, семь, семь с половиной раз. Буквенный кочевник.

Молоко, похоже, не прокисло. Будешь молоко?

Вошла Катичка, кот уркнул повторно — уже укоризненно. Он совсем, что ли, малахольный у тебя?

Вроде того.

Катичка, прости-прости-прости, сама не знаю, что на меня нашло, звонко чмокнула его в щеку, мог бы и побриться, это, кажется, уже подумала, убрала молоко, закрыла холодильник, снова открыла, взяла доску, желтую, пластмассовую, для сыра: для сырого мяса, для рыбы, для фруктов — доски другого цвета, отделила от параллелепипеда ветчины основательную грань, бросила коту — на, жри! Сполоснула доску, вытерла, убрала на место, снова хлопнула дверцей холодильника, погладила кота по остро выставленным лопаткам. Кот тряс головой, чавкал, роняя из розовой пасти розовые куски. Жрал.

Вообще-то это была моя ветчина.

Не жадничай. Мы же всегда хотели кота.

Может, это чей-то кот.

Больше нет ничего чьего-то.

Возразить было нечего.

Катичка еще раз погладила кота. Села на стул.

И некрасиво, в голос, заплакала.

* * *

Вечером они долго сидели на террасе в плетеных пластмассовых креслах. Ноябрь, а так тепло. Даже куртки не нужны. Благословенная земля. Тебе подлить? Давай. Вино тоже было благословенное, почти синее, горькое, густое. Он разлил не на ощупь, а на звук — струйка, встретившись с тонким стеклом, пропела жалобно, нежно и истаяла в тишине. Птиц больше не было. Машин тоже. Лисица, которая каждую ночь то тявкала где-то в полях, то вдруг, задыхаясь, отрывисто истерично хохотала, замолчала еще в сентябре. Хотя, может, это и не лисица была вовсе.

Это разливное, из таверны? Угу. Надо будет купить литров десять, если они не закрылись. Он кивнул. Закрылись, конечно, но думать об этом не хотелось. Катичка потянулась погладить его по щеке, но угодила в глаз, ахнула, извинилась. Ничего, ничего. Мне не больно. Он нашел ее пальцы, поцеловал. Пахло мятным мылом и немного чесноком. На ужин были его любимые куриные отбивнушки.

Как хорошо, что мы вместе.

Катичка поцеловала его руку в ответ. Кресла

поскрипывали, как будто озвучивали каждое невидимое движение.

Хочешь, свечку принесу?

Нет, не надо. Уже скоро.

И действительно, минут через пять луна вспухла над горизонтом — огромная, раздувшаяся, неприятная, темно-оранжевая. Ненормальная. Они знали, что это ненадолго, надо просто не смотреть, подождать. Все, уже нормальная, маленькая, белая, висит на положенном месте. И сразу, словно кто-то подбросил снизу целую пригоршню, появились звезды. Крупные, как прыщи, сказала Катичка — и они засмеялись.

Он встал, подошел к перилам. Темнота побледнела, расползлась, спряталась в ближайшей оливковой роще, темной, будто жестяной, и стало видно далеко-далеко. Долина лежала не шевелясь. Дремала. Ни огонька. Все оттенки серого. И черного. И синего. Очень красиво. Когда они в первый раз вышли на эту террасу, Катичка всплеснула руками и ахнула.

Как мы его назовем?

Катичка чуточку растягивала гласные, как всегда после второго бокала.

Кота?

Кота.

А зачем его называть? Пусть будет просто кот.

Он не просто кот. Ты что, не понимаешь? Это утешение. Господь послал его нам в утешение.

Кота?

И не только.

Катичка была права, конечно. Господь посылал им в утешение много всего. Солнце, виноградники, холмы, сыр, вино, оливки. Теперь вот кота. Сожрав ветчину, кот ушел из дома, оставил их растерянных, осиротелых, но к вечеру вернулся, притащил птицу, очевидно, задушенную самолично, спасибо, дружище, но не надо, ладно? Не надо никого убивать! Кот бодался, крутился вокруг ног, требуя ласки и еды, и, получив искомое, облюбовал на втором этаже кресло и задрых. Остался. Они с Катичкой тихонько выкинули птицу, маленькую, взъерошенную, длинноносую, подальше в лес. Чтобы кот не обиделся. Смешно, но в доме стало спокойней. И не только в доме. Весь мир стал безопасней.

Почему ты молчишь? Я чистую правду сказала. Иначе откуда этот кот вообще взялся? Это не кот. А знак. Знак Божий.

Кать, ты пьяная просто. Давай не будем?

В бога он не верил. Никогда. Даже не пробовал — как курить. Не из вредности. Просто нелегко

было представить себе сущность, способную учитывать и удовлетворять все потребности каждого индивида, учитывая, что этих самых индивидов на планете примерно восемь миллиардов. С хвостиком. На всех — котов не напасешься. Или не восемь миллиардов? Он ткнулся прогуглить, но сети не было. Нажал перезагрузить. Пока на экране крутились песочные часы, сообразил, что теперь не восемь миллиардов уже, наверно. С учетом происходящего. Может, и миллионы давно. А то и меньше. Под ложечкой закрутилась тревога — так же механически, мерно, как песочные часы.

Он сглотнул. Машинально, словно беременная, положил ладонь на солнечное сплетение, успокаивая что? Катичка бы сказала — душу. Она всегда любила эту хрень — вибрации, эманации, чудеса. Разве наша с тобой встреча — не чудо? Охренеть, какое чудо. Наехала на меня самокатом своим, чуть ногу не сломала. А если бы я не взяла в тот день самокат? Это теория вероятности, а не чудо!

Он и сам не понимал, что́ Катичка в нем нашла. Она была изящная, шустрая, коротко, как мальчишка, стриженная — то, что называется, штучка. А он тюфяк, сырой, рыжеватый, лет с двадцати пяти плешивый. Они никак не должны

были быть вместе. Но поди ж ты.

Очень не хотелось умирать.

Телефон наконец перезагрузился. Никаких сетей. Вообще что-то было не так. В целом. Он еще раз осмотрел долину. Горы. Призрачный драгоценный вид. В том месте, куда уводила дорога, не висела звезда. Ну, их звезда. Всегда висела, а сегодня нет. Вместо нее серело пятно. Небольшое.

Облако?

Он снова перезагрузил телефон.

Нет, точно — облако.

Блед, — сказала Катичка из-за спины.

Что?

Мы назовем его — кот Блед.

И Катичка не то закашлялась, не то засмеялась.

* * *

Утром он вышел на террасу, и солнце немедленно придавило его, как бетонная плита. Господи. Который щас час вообще? Он потряс телефон. В голове катались красные и черные шары. Нельзя так нажираться в сорок лет, ей-богу. Он потряс телефон еще раз — интернета так и не было. Связи тоже.

Что ж. Этого следовало ожидать. И мы ожи-

дали.

Он из-под руки, щурясь и моргая, посмотрел туда, где вчера было пятно. Серое, небольшое. Надоедливое. Как жирный отпечаток на очках.

Туман. Никаких сомнений. Это был туман.

Чертово солнце, слезы градом.

Он потер глаза. Еще. Ну, блин.

Снизу коротко, нежно, переливчато мяукнули.

Кот Блед сидел аккуратным кувшинчиком на дорожке. Перед ним лежала крыса. Без головы. Хвост у крысы дергался. Голова — с прикушенным страдальчески языком — валялась под кустом лаврушки.

Кот еще раз пропел свою нежную трель и исчез в живой изгороди, чтобы через секунду появиться на дороге, мягкой полупетлей затянувшей их дом. Направо дорога спускалась, постепенно твердея, скучнея, асфальтовея, и километров через сорок, извертевшись вконец, приводила к людям. Налево она оставалась, сколько видно глаз, обычной грунтовкой, тоже интересничала, крутилась, вилась, пока не упиралась в далекое, едва различимое поднебесье. Там утром и вечером стояло ровное медное пламя, которое ночью сгущалось в точку, в круглогодичную рождественскую звезду, сияющую над невидимым вертепом. Жуют волы,

и длится ожиданье. Откуда ты знаешь, что это вертеп? Может, просто заброшенная ферма.

Они так ни разу и не дошли туда. Не проверили. Направо ездили регулярно, привозили еду и вино, друзей и гостей, энергосберегающие лампы и бумажные полотенца (12 рулонов всего за 3,99). И едва ли не каждый вечер, каждый отпуск, сидя на террасе, давали себе слово, что вот завтра непременно пойдем и разведаем, что там такое светится, но всякий раз отвлекались, четырнадцати дней не хватало ни на что, двадцати тоже не хватало, теперь, когда они здесь навсегда, не хватало сил.

Мы же сами купили этот дом.

Сами.

Теперь ты понимаешь — зачем?

Он не понимал, нет, все равно нет. Особенно сейчас.

* * *

Это было десять лет назад, они были молодые, глупые, тридцатилетние, даже еще не поженились, хотя уже год жили вместе, сперва короткими перебежками — то у него, то у нее, а потом и по-настоящему, в общеснятой двушке, для которой пришлось впервые слить бюджеты.

И это оказалось интимнее и важнее, чем любое телесное слияние. Впрочем, в постели тоже все ладилось тогда, и не только в постели. По пятницам заказывали суши, в воскресенье ездили на бранчи, иногда даже в «Пушкин», много шопились, много путешествовали, много работали и вечерами много пили, успокаивая себя тем, что пьют только очень хорошее и очень сухое. И вообще — что бы мы все делали без вина и Голливуда?

Кино смотрели перед сном, на диване, обнявшись. Два бокала, тарелка с закусками, которую Катичка называла одним словом — колбасыр. Все чаще они выбирали не изощренные детективы, а романтические комедии, и к финалу Катичка обязательно плакала быстрыми, радостными слезами, а он говорил — боже, какая феерическая хрень! — и шел за новой бутылкой, чтобы она не видела, что он тоже плакал. Уже решено было, кому заказать обручальные кольца — чтоб не как у всех. Это было их жизненное кредо, нигде не записанное, никогда не сказанное вслух, но общее, очевидное — не как у всех. На самом деле они всегда были типичные представители. Обывательская масса.

На свадьбу оба собирались надеть джинсы и

одинаковые футболки. И в свадебное путешествие поехать не после, а до. Долго выбирали — Прованс? Тоскана? Бали? — времена были сытые, лоснящиеся, глянцевые, они зарабатывали больше, чем можно и нужно, все в Москве так зарабатывали. В любую столицу мира легко было смотаться на пару недель или дней — и они мотались, поражаясь, что даже в Нью-Йорке все медленно и дешево по сравнению с Москвой.

Так куда?

Ну, я не знаю. Давай в Прованс. Камамберу поедим.

Да ну его. Были. А камамбер твой жопой воняет. Причем старой.

Баннер выплыл из угла, раскорячился на половину страницы. Катичка наклонилась, всмотрелась, щелкнула мышкой.

Вот тут не были! Смотри, прелесть какая! Давай?

А давай!

Очень маленькая страна. Очень маленькое место на самом ее краю. Зато гора здоровенная. Гостиничка горошиной лежала у ее подножия. Горошина была не фигурой речи, а концептом — все в отеле было круглое. В прямом смысле. Бетонная сфера — здание, внутри круглые номера,

иллюминаторы вместо окон, круглая, бесстыже розовая кровать, круглое зеркало на потолке, круглое джакузи с видом на кругом очерченный садик, тяжелые шары гортензий на круглых клумбах, радужные мыльные пузыри в горячей воде, круглые, едва помещающиеся в ладонь бокалы, в которых шипели бусинки местного вина, чуть газированного, веселого, очень-очень молодого. От всего этого голова тоже шла кругом, они непрестанно, как от травы, смеялись, занимались любовью, спали, катались по окрестностям — как красиво! Ты только посмотри!

Действительно — очень красиво.

А давай дом тут купим!

Вроде, это Катичка сказала. Но мог и он. В любом случае — это была шутка, очень смешная. Им вообще не нужен был дом. Тем более тут. Они собирались пожениться и вписаться в московскую ипотеку. Все было просчитано минимум на сорок лет вперед.

В супермаркете они взяли вина, сыра, местных колбасок — смрадных, фантастически вкусных, по-особому спеленутых кабаньей кишкой. Еще дыню давай? Вон ту, зеленую. И виноград. Хочешь виноград? Ага. Каждая ягода размером с хорошую сливу. Все здесь было ненормально

большое, сочное, непристойное. Деревья. Фрукты. Облака. Комары. Только люди были маленькие, шустрые, смуглявые, как муравейчики. Журчали на своем певучем непонятном языке, не вызывая никаких ассоциаций, и потому казались игрушечными. Заводными. Не люди, а нарочно. У них были непроницаемые, почти кошачьи мордочки, немножко злые. Нет, просто строгие. Откуда ты знаешь? Может, они наоборот — таким образом выражают свою приязнь. И вообще — френдли и хэппи. А тебе не все равно? В общем, да. Все равно. Нет, нет, не приставай. Мне с утра больно, все ободрал щетиной своей. Тащи лучше вино. Катичка скорчила ему рожицу, с размаху рухнула на круглую кровать и несколько раз сделала ангела, как в сугробе.

Он притащил, ощущая себя всемогущим Шивой, бутылку, два бокала, тарелку с нарезанной дыней, виноградную гроздь (пришлось в зубах). Катичка уже перевернулась на живот и, болтая голыми ногами, листала невзрачный журнальчик. Это что? Дом будем выбирать. Я каталог в супермаркете стащила. Слава богу, все по-английски. Смотри, четырехэтажная вилла с садом стоит меньше трешки в Бирюлево. Нам на трешку в Бирюлево и через сто лет не накопить. Поэтому

давай купим виллу! Ну давай! Не жмись!

Они листали объявления, ржали, кидались виноградом, открыли вторую бутылку вина, позанимались любовью, да побрился я, клянусь, сама проверь, потом позанимались еще, оголодали, и он сбегал к холодильнику за колбасками и сыром. И еще вина прихвати, пожалуйста, милый! Он был милый, да. Счастливый. Тридцатилетний. За круглым окном все стало сперва серо-голубым, потом синим, и, наконец, стемнело полностью. Вместо ночника включили кособокую застенчивую луну. У Катички на шее и на бедрах, изнутри, там, где кожа была тонкая, как молочная пенка, и всегда прохладная, все было красное, натертое, и она требовала дуть, и он дул, да ты не дуешь, а щекочешь, так нечестно!

Девять спален, шесть ванных комнат, полностью реконструированный, с видом на холмы, кондиционированная кухня, частный сад, гараж на две машины, сорок пять квадратных метров, четыреста тридцать, в часе езды от аэропорта, в пяти минутах — общественный бассейн. Будем им жопу голую с террасы показывать. Кому им? Им всем! А потом гулять по этим тыщам квадратных метров.

Они смеялись так, что не услышали шагов

судьбы. Кто первым заметил это объявление? Для ищущих романтического уединения! Читай — для круглых идиотов. Отдельно стоящий старый дом на вершине живописного высокого холма, к которому ведет асфальтированная дорога. Пристегните ремни, приготовьте блевательные пакетики — вам понравится на нашем серпантине. Площадь сто девять квадратных метров. Три этажа. Три жилых комнаты. Это вообще как? Про ванную ничего? Ничего. Значит, лейка на стене. Ну уж сразу лейка. Шланг могли протянуть. По живописному холму. Полностью оборудованная кухня. Терраса с ошеломляющим видом. Ошеломляет в основном количество комаров. А откуда комары? Написано — возле дома девственный лес. В лесу всегда комары. И грибы! Тоже девственные. Будем жареху делать вечерами. Ага, прям в камине! А там есть камин? Обижаешь! Вот — в доме имеется дровяной камин. Просторная мастерская. Место для машины под навесом. Частный садик. Дом полностью меблирован в винтажном стиле. То есть бабка-стайл. И мумия бабки наверняка до сих пор на чердаке. Там нет чердака. Все, без чердака не берем, без чердака — не жизнь. Что там еще? Раз в неделю приезжает хлебная лавка. Они покатились со смеху, и он,

еле отдышавшись, дочитал — по соседству всего три обитаемых дома, жители которых живут напряженной духовной жизнью.

От напряженной духовной жизни они буквально взвыли. Почему-то это было уморительно смешно. Луна уже разрядилась, ее унесли, должно быть, на склад. Небо побледнело, как Катичка. Под глазами — синяки. Ты так красиво утомлена. Иди сюда. Он смог в четвертый раз, хотя уже немножко через силу. Коленки и локти саднило, как будто по наждачке проехался. Как молодой, ну. Да почему как? Вполне себе молодой.

Проснулся он после полудня. В иллюминаторе плескало, переливалось голубое, зеленое, круглое. Последняя бутылка вина была определенно лишней. Катичка спала, придавив щеку, на подушке — пятно слюны. Неожиданно некрасивая. По-настоящему родная. Он заморгал часто-часто, все задрожало, сияя, едва не перелилось через край. Завтракали в саду вчерашними объедками, упоительно вкусными, пахло гиацинтами, зеленью, землей, столик, за которым они сидели, был черный и горячий, как кофе.

Поедем? Тут километров сорок всего.

Они посмотрели друг на друга, хором радуясь тому, что думают хором, и засмеялись.

Как выяснилось, не сорок километров, а шестьдесят. Сорок — только по той самой дороге, вверх на холм. Действительно — очень живописная. Уши закладывало, рентованная малолитражка взрыкивала, дергалась, еле тянула. Лес был непривычный: курчавый, невысокий, ни одного знакомого дерева, даже запах чужой, крепкий, неразбавленный. Иногда на очередном повороте мелькала в прогалах зеленого огромная, чуть подернутая дымкой, долина, Катичка верещала восхищенно, хватала его за локоть, мешала вести.

Дом оказался больше, чем на фотке в объявлении. И лучше. Когда-то давно — розовый. Черепичная крыша заросла мхом. На пороге, упираясь плечом в косяк, стоял невысокий мужик в выгоревших шортах и смотрел, как они подъезжают. Как будто знал. Слава богу, не местный. Говорил по-английски быстро, раскатисто, иногда даже Катичка не понимала. После иняза, на секундочку. Вы американец? Зыркнул хмуро, глаза почти белые и прозрачные, как у хаски. В некотором роде — да. Дальше расспрашивать было неловко. Тощий, морщинистый, дубленый, словно скрученный весь из медной проволоки. На животе — крепкие кирпичики пресса. Он

машинально втянул живот, мягкий, тестяной, непропеченный. Сколько ему? Пятьдесят? Шестьдесят? Молодец. Хорошо выглядит.

Мужик провел их по дому — совершенно чудесному. Дверь на террасу придерживал камешек в форме сердца. На камне была нарисована забавная кошачья морда в растопыренных усах. Наверно, какой-то ребенок постарался. С террасы не хотелось уходить. Вообще из дома не хотелось.

Мужик принес им кофе в оранжевых чашках, неровных, горячих, ручных. Всегда мечтала покраситься в такой же цвет! — сказала Катичка, любуясь. Так потом и сделала, кстати. Мужик поймал ее взгляд, сказал, что чашки может оставить. Вообще все, что внутри. Дому скоро сто лет. Мебель в вашей спальне — его ровесница. Будете спать на настоящем антиквариате.

Он так и сказал — в вашей спальне.

И сколько вы хотите? В объявлении сказано — цена по запросу. Только имейте в виду — мы не олигархи. Ну и тут все ветхое, конечно. Надо вкладываться в ремонт. Катичка ковырнула пузырь краски на перилах террасы. Она считала, что умеет торговаться, поэтому они вечно покупали все втридорога.

Мужик смотрел на них в упор, чуть прищурившись, словно читал то, что написано мелким шрифтом. На щеках у него, на выбритом черепе лежала едва заметная серебристая тень. Да он седой совсем. Может, и не шестьдесят, а все семьдесят.

Двадцать тысяч евро.

Ровно столько у них было отложено на первый взнос по ипотеке.

Солнце собиралось садиться, вдали, слева, вспыхнуло медное ровное пламя.

Что это?

Узнаете. Это очень любопытное место. Оно недалеко. Минут двадцать пешком.

Они смотрели и смотрели, а свет, переливающийся, неугасимый, густой, все стоял и стоял вдали.

Еще я оставлю вам свой джип. Бесплатно. Это японец, старый, но очень надежный. Сузуки Самурай. Без него вы просто не спуститесь вниз, когда будет дождь. Или туман.

То есть в плохую погоду отсюда не выбраться?

Зато сюда не добраться чужим. Это важнее.

Катичка поставила оранжевую чашку на пластмассовый столик. Первым делом купим сюда что-нибудь изящное. Кованое. И два кресла. А вот

тут я посажу цветы.

Ты помнишь, он тогда сказал — когда будет туман?

* * *

Улетали 15 августа, Катичке 1 сентября надо было в универ, к студентам, ему — в контору, пялиться в мониторы. Училка и сисадмин, очень смешно. Они стояли в очереди на паспортный контроль, Катичка скролила ленту, мелькали селфи, котики, виды, а он зевал так, что щелкало за ушами, и все цеплялся взглядом — как будто задравшимся ногтем — за соседку, подтянутую белокурую девку в красной майке. Девка озиралась, тоже зевала, то и дело ныряла в рюкзак, шуршала там чем-то, проверяла паспорт, искала шоколадку, и сиськи ее, тяжелые, загорелые, дынные, толкались и перекатывались, как поросята. Интересно — свои или силиконовые? Силиконовые. Нет, неинтересно.

Он чмокнул Катичку в душноватую рыжую шерстку на макушке. У корней блеснуло коротко, ярко — седина. Катичка начала седеть лет пять назад и почему-то отчаянно этого стеснялась, пряталась. Волосы красила чуть не раз в неделю. Он делал вид, что не замечает. Концепция жить

долго и счастливо и умереть в один день устраивала его совершенно. Старость была всего лишь частью этого плана.

Скорей бы в самолет — и спать.

Рейс был ранний, чтобы добраться до аэропорта, пришлось бы вставать в два часа ночи, в итоге решили не ложиться совсем. Сперва бродили по дому, проверяли розетки, краны и щитки, хлопали дверцами, заглядывали в ящики, радуясь, что ничего не надо тащить с собой. Дом привязал их к одному месту, но взамен позволил путешествовать налегке, даже без зубных щеток. Теперь они уезжали из дома и возвращались тоже домой.

Тут были свои плюсы и минусы, конечно. Дом оказался изрядным обременением — вроде больного диабетом кота. Надо было дистанционно платить налоги и коммуналку, возиться с видом на жительство, осваивать местную бюрократию. Про ипотеку в Москве пришлось забыть, новые двадцать тысяч никак не накапливались, Катичка тратила по мелочи, но много, безалаберно, там блузочка, тут ложечки, все со скидкой, но на выходе улетали в трубу дикие тыщи. Ему никак не удавалось взять это под контроль. Они так и жили в съемной двушке, при том, что где-то, на вершине холма, пустовало сто квадратных

метров. Бездомные домовладельцы.

Идиотизм.

То он, то она требовали продать дом немедленно, да кто его купит, ищи теперь таких же дураков. Они стали чаще ссориться — из-за всего подряд, но из-за денег особенно азартно. Но стоило им приехать, отпереть дом своим ключом и войти в сумеречную, засиженную гекконами прихожую, как все менялось. Они любили этот несносный дом. На пенсии переедем сюда совсем. Может, раньше? Может, и раньше.

В полночь, перед отъездом, сели на террасе с бокалами вина. Молчали, смотрели на долину, прощались. Пахло белыми грибами — совсем как в Подмосковье, трещали невидимые жуки.

Цари горы. Мы — цари горы.

Катичка не ответила. Она не любила уезжать, всегда беспокоилась, суетилась, как грызун перед грозой. Перекладывала бессмысленно барахлишко. В этот раз — прям на нервах была, всерьез.

Он еще раз поцеловал ее в макушку. Наш рейс объявили, идем уже. Не хватало опоздать. Катичка подняла голову от телефона — зрачки у нее были громадные, во всю радужку, как у кокаиновой наркоманки.

Началось. Началось.

Да что началось?

Вместо ответа Катичка схватила рюкзак, оранжевый, синтетический, веселый, и, оступаясь, растопырив руки, словно слепая или слабоумная, побежала к выходу.

К обеду они уже снова сидели на террасе, каждый — в своей ленте новостей. Рюкзаки валялись неразобранные. Холодильник никто так и не удосужился включить. Дом, не успевший осознать, что они уехали, молчал неловко, словно не знал, о чем говорить. Ну что там у тебя? Новая Зеландия. Уже треть. Это бред, бред, абсолютный бред. Не могло такого случиться, это фейки, Кать, зря только билеты пропали.

К вечеру Новой Зеландии не стало. Вообще. Совсем.

Ее полностью покрыл туман.

* * *

Первые дни они читали новости безостановочно, все подряд, на всех, спасибо ИИ, языках. Спали по два-три часа, меняя друг друга, как на посту — боялись пропустить важное, и, засыпая, а потом (по ощущениям — через несколько секунд) просыпаясь, он видел в темноте Катичкино лицо, подсвеченное снизу экраном, синеватое,

страшное, как будто уже мертвое.

Новостные агентства. Агрегаторы новостей. *New York Times Washington Post Guardian BBC News CNN Al Jazeera Reuters Associated Press Le Monde* ТАСС. Ты веришь ТАСС? А ты видишь разницу? Официальные новости и правда у всех были одинаковые — сухие, короткие, хрустели, как хворост, вспыхивали так же — на мгновение, ни толку, ни света, ни тепла. Сохраняйте спокойствие не поддавайтесь панике спецслужбы ведут тщательную проверку все на личном контроле президента премьер-министра правительства его королевского величества главнокомандующего верховного вождя.

Эксперты мямлили невразумительное, смотрели мимо телесуфлера, терли очки. Их было по-человечески жалко — данных для экспертной оценки было действительно ничтожно мало, да для какой угодно оценки. Зато диванные эксперты из соцсетей слов не жалели. Инопланетяне, второе и далее по счету пришествие Будды/Магомета/Христа, внеземные споры, сверхсекретное оружие, сбежавшее из засекреченной лаборатории Китая/России/США, происки иллюминатов, поиски атлантов, заговор мировой закулисы, лично Билла Гейтса-отца и сына его Цукерберга.

Миллионы просмотров, миллиарды лайков, плач, скрежет зубовный, шапочки из фольги. Настоящий маховик беспримесного невежества и зла.

Туман отбросил всех в средневековье.

Он понимал, что людям просто страшно, он сам боялся, но совсем другого. Прошел месяц. Примерно треть планеты была покрыта туманом. По сути — не существовала больше. Счет беженцев шел на миллионы. И при этом никто, совершенно никто не понимал, что это за туман. Откуда он взялся. Что в нем происходит. Никто не понимал даже, из чего этот чертов туман состоит.

Почему ты думаешь, что он чертов? — тихо спросила Катичка. А если наоборот?

Что — наоборот?

Если этот туман от Бога?

Ты тик-тока пересмотрела? Давай еще Макаронному монстру поклоняться начнем. Концепция бога вообще никакой критики не выдерживает. У тебя же вроде высшее образование, Кать.

У тебя вроде тоже. А толку?

Обычно он не реагировал ни на Катечкины подколки, ни на перемены ее настроения, ни на вспышки злости. Оплотом здравомыслия и спокойствия в семье был он. С — стабильность. А все почему? А все потому, что он мямля. Мама так

и говорила — ты не мужчина, а мямля! Тряпка! Все об тебя ноги будут вытирать.

Он встал. Рванул себя за ворот футболки. Хрустнуло. Гнев, круглый, горячий, красный, быстро поднялся изнутри, подрожал секунду и вдруг лопнул. Не смей! Бдыщ! Он саданул кулаком по столу. Вскрикнули и переполошились чашки. Не смей! Так! Со мной! Разговаривать! И еще раз — бдыщ! Кровь, кишки, распидорасило. Мышцы подергивались даже на лице, возле губ.

Стало почему-то весело. Жарко. Круто. Не страшно совсем.

Вот почему она так часто орет.

Катичка поднялась, пожала плечами и ушла разбирать шкаф. Как только стало ясно, что туман — это новая реальность, она затеяла генеральную уборку. Каждый день расхламляла новый угол, отдраивала, отчищала, откладывала ненужное, нужное проветривала, встряхивала, крепко держа за углы, складывала аккуратно. Очень вовремя!

Помирились они только ночью. Нет, не секс. Вообще мыслей таких больше не возникало. У Катички, похоже, тоже. Он просто обнял ее и целую секунду ждал, что она сердито оттолкнет его руку. Не оттолкнула.

Утром он сделал экселевскую табличку под названием *TUMAN* и заполнял ее ежедневно. Нет, легче не стало. И понятнее тоже. Просто спокойней. Его версия разбирания шкафов.

Никакой логики в происходящем не было. Вообще никакой. Туман появлялся рандомно, на всех континентах — возле мегаполисов, возле маленьких деревень, в необитаемых местах, вроде пустыни Гоби. И постепенно — всегда с разной скоростью — поглощал все. Никто не знал, что происходит внутри тумана. Вообще никто. Он был непроницаем для любых сигналов и неуязвим для любых воздействий. На него распыляли специальные вещества, пускали огонь, устанавливали ветродуйки, даже создали торнадо — но туман не исчезал. Ни роботы, ни дроны, ни армейские, ни гражданские добровольцы из тумана не возвращались.

К туману можно было подойти. До него можно было дотронуться. Сунуть в него руку уже было нельзя. Человек исчезал. Да что человек — исчезали целые города, страны. Надо думать, следующими будут континенты.

РФ, первая и единственная, даже применила против тумана ТЯО — они с Катичкой смотрели запись, схватившись за руки так, что побелели

пальцы. Бомбардировщик, тяжелый, пузатый, зашел над туманом, сделал пару кругов, приноравливаясь. За штурвалом был дважды Герой России, летчик-испытатель, бла-бла-бла, он не запомнил, только лицо — простое, но хорошей лепки. Скулы, губы, нос. Хоть на семя, хоть на племя. Новый спаситель мира. Сообразили, могут же, когда захотят, что его теперь вечно по всем каналам крутить будут. Гагарин 2.0. Красивый какой, прошептала Катичка. Хоть бы получилось, хоть бы получилось, ну, пожалуйста, родненький!

Бомбардировщик лег на крыло, неторопливо разомкнул бомболюк. Блеснула бомба, почему-то нежно-голубая, похожая на игрушечную рыбку. Писали, что ее освятили и благословили священники всех мировых конфессий. Бомба нырнула в туман. Катичка зажмурилась. Пальцам стало совсем больно. Горячо. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Взрыв! Ничего не произошло. Бомба просто исчезла в тумане. Совершенно беззвучно. Бомбардировщик сделал еще один круг и, накренив нос, спикировал в туман. Никто так и не узнал — добровольно или.

От России к тому времени осталось несколько полуобглоданных кусков — за Уралом, на Дальнем Востоке, около Питера, почему-то еще

Центральный округ Москвы, который туман взял в циркульно ровное неподвижное кольцо. Пятое московское. По этому поводу было много мемов. Некоторые даже смешные.

Единственным местом, где тумана не было вообще, оказался остров Науру — и его немедленно назвали новый Ноев ковчег. Кусочек суши площадью 21 квадратный километр превратился в землю обетованную. Недвижка взлетела до небес, остров облепили яхты, бизнес-джеты роились в воздухе, как мошкара, самые богатые люди мира мечтали купить хоть пару здешних квадратных метров. Новый Ноев ковчег исчез в прямом эфире с рекордной скоростью — за десять минут. Все эти десять минут люди выли. Просто выли. И все. Он еле успел выключить звук на ноутбуке, но все равно слышал этот вой еще много дней.

Потом он бросил заполнять таблицу. Надоело. Какой смысл. Они с Катичкой, не сговариваясь, перестали следить за новостями каждую минуту, а главное — больше не говорили про туман. Вообще. Он был пока далеко, в другой части страны. Они начали готовиться к зимовке — сняли наличные, сколько смогли, запаслись продуктами с хорошим сроком годности, теплой одеждой. Курс обмена был ужасный, но все какое-то время

работало, и связь, и свет, и канализация, не было никакого мародерства, как в других местах, возможно, потому что на каждом перекрестке стоял хмурый приземистый БТР. В общем, местные человечки были крепкими ребятами. Кто б мог подумать. Катичка училась делать солонину и сушить грибы. Выходило не очень, но она старалась. Он перебрал старый генератор, купленный тоже вместе с домом, и раз примерно тысячу пожалел, что у них нет оружия. Разве что кочерга. Зато вода есть. Колодец. Слева по дороге.

Осень была тихая, долгая, первая их осень тут, в доме. Обычно они прилетали летом и зимой, когда у Катичкиных студентов были каникулы. И жизнь была тихая, почти бессловесная. Вся в настоящем времени. Они обменивались только действительно важными словами — их оказалось на удивление мало. Передай, пожалуйста. Не надо. Спасибо. Я тебя люблю.

Только один раз Катичка сказала странным голосом — я не хочу умереть здесь. Хочу дома. Он собирался спросить — а какая, собственно, разница, но не спросил. Разница была. Для него тоже. А в другой раз сказала еще — как ты думаешь, будет очень больно? И он не знал, что сказать, просто обнял ее, и все.

Они все так же сидели вечерами на террасе, пили вино. Все так же сиял слева медный свет, ночью превращающийся в звезду. Надо наконец сходить туда. Пока есть время.

Катичка кивнула.

Завтра?

Завтра.

Завтра исчезла связь. Послезавтра — свет. Закрылись заправки. Исчезли БТРы.

Так продолжалось до ноября.

В ноябре пришел кот и стало полегче.

А потом он впервые увидел туман.

* * *

Вычислить скорость было нетрудно — и он вычислил. Прикинул, щурясь, расстояние — приблизительно, конечно. До супермаркета от них было сорок три километра, но это по дороге, по прямой определенно короче, засек время — пришлось просидеть на террасе почти час. Катичка крикнула сердито — что ты там торчишь? Он пошутил что-то про солнечные ванны. Не хотел ее расстраивать. Тем более что солнца теперь было действительно в избытке — ровного, бледного, зимнего солнца.

В местах, куда приходил туман, погода переста-

вала меняться. Становилось ясно, безветренно, тихо, как в детстве, на весенних каникулах, в лучшие дни. Это выяснили в самом начале еще. В первые недели. Внешние наблюдения — авиация, дроны, спутники. Ну и люди с мест передавали, пока могли. Туман приходил понизу, сразу со всех сторон и, неторопливо вздуваясь, начинал подниматься. Это было похоже на то, как закипает молоко в ковшике. Дольше всего держались высокие места — всякие башни, небоскребы, природные возвышенности. Потом туман заливал их тоже, смыкался с небом, которое до самой последней секунды было светлым, безоблачным.

И место, куда туман пришел, переставало существовать.

Он вспомнил коротенький дергающийся ролик из телеграма, снятый с Эйфелевой башни, облепленной людьми. Парижа уже не было — только шевелящийся, поднимающийся туман, из которого еще торчала верхушка башни Монпарнаса, этакий обугленный фак. Снимавший медленно поворачивался, телефон в его руках дергался, и сквозь рев воздуха и человеческие вопли слышно было, как он безостановочно и восхищенно по-

вторяет — *oh mon dieu*[9], *oh mon dieu, oh mon dieu*. Мелькали головы, плечи, вздернутые руки. Кто-то держал над головой собачонку в ярко-красном вязаном кардиганчике. Собачонка жмурилась, тряслась, и глаза у нее были тоскливые, заплаканные, совсем человеческие.

Потом камера замерла.

Часть ограждения была выломана с мясом, нет, похоже, выдавлена, и к рваной прорехе стояла очередь, плотная, черная, удивительно организованная. В очереди никто не кричал, не молился, она тяжело, как удав, ворочалась, и каждые несколько секунд совершала мускульное почти, тоже очень удавье сокращение. Это вниз, в прореху, выбрасывались люди. Деловито, быстро, молча, словно выходили из вагона метро и торопились, чтоб не мешать другим.

Прыгали по двое, по трое, крепко держась за руки. Замешкавшимся молча помогали — подсаживали, подталкивали, подставляли спины, передавали из рук в руки детей. Очень многие были с детьми. Дети тоже почему-то молчали.

Снимавшего прижало к сетке недалеко от прорехи, он наклонил телефон — туман был совсем

---

[9] Примечания: 9
Боже мой! (*фр.*)

близко, метрах в полутора, и казалось, что люди прыгают в бассейн, полный молока. Это было совсем не страшно, даже забавно. Жужжикнул зум, туман приблизился, и стало видно, с какой страшной скоростью он поднимается.

Oh mon dieu! — сказал снимавший последний раз и вдруг засмеялся. Он переключил камеру на себя — возможно, случайно, и целую секунду видно было разбитое, окровавленное лицо, оскаленное и такое страшное, что непонятно было — мужское оно или женское.

А потом все исчезло.

Подписывайтесь, это *Baza*.

Он тогда, наоборот, отписался и долго, не попадая по кнопкам, чистил кеш, чтобы Катичка не увидела ролик даже случайно.

Последнее сообщение из Саратова, от мамы с папой, пришло в *WhatsApp* — переливающаяся пульсирующая гифка с сусальным Христом, раскинувшим просторные объятия. Храни вас Господь от всех бед! Надпись тоже дергалась, мерцала, делал ее кто-то удивительно рукожопый. Школьник. Или пенсионер. Или просто идиот.

Он покрутил головой, чтобы прогнать это все, забыть. Нет, нет и нет. Нет, я сказал! Шея неприятно хрустнула. Посмотрел на супермаркет. На

смартфон.

$v = s \div t$

Пересчитал для верности еще раз.

Туман должен был сожрать их 31 декабря.

Он пересчитал в третий раз и засмеялся.

Очень символично.

* * *

Он проснулся от негромкого мерного мурчания. Поискал кота, но наткнулся только на Катичкино бедро и виновато отдернул руку. Катичка сварливо забормотала, потянула на себя одеяло, еще, еще и, не просыпаясь, победила. Отобрала. Волосы у нее отросли за эти месяцы, краски купить было негде, и Катичка стала рыже-серая. Пегая. Почти совсем седая. Ей даже шло — загорелое угловатое лицо, черные резкие брови. И седина. Оба делали вид, что так и надо.

Кота не было. В комнате стоял странный, белесый, шевелящийся свет. Он привстал, по привычке схватился за телефон, уже неделю разряженный, черный, мертвый. Черт! Будильник, слава богу, ламповый, точнее — кварцевый, купленный вместе с домом, показывал шесть утра. Интересно, как долго работают кварцевые батарейки? Он снова схватился за телефон, чтобы

погуглить, и только теперь проснулся окончательно.

Шесть утра. Декабрь. Должно быть совершенно темно!

Мрррррррр-мрррррррр-мрррррррр-мрррррррр…

Он пометался в поисках джинсов, не нашел и вышел на террасу так.

Все стало белым. Вообще все. Мир исчез. Не было больше долины, трех соседних домов ниже на уступ, заброшенной виллы, лего-городка внизу, супермаркета, похожего на красную сигаретную пачку, заправки, блестящей линии озера у дальнего шоссе, африканских косичек виноградников, зонтиков пиний, плавной синусоиды горизонта. Гор вдали тоже не было. Самой дали тоже. Мир был залит ровным тихим белым туманом, как будто кто-то не спеша, аккуратно наполнил громадное блюдце молоком. Почти до краев.

Торчал только их дом на макушке холма. Все остальное съел туман.

Небо, тоже белое, тихое, непроницаемое, сливалось с туманом, и на мгновение ему показалось, что он стоит внутри громадного, неторопливо сжимающегося шара.

Он подошел к перилам, посмотрел вниз и сразу,

как в детстве, когда по телику крутили страшное, зажмурился. Внизу тоже не было ничего. Даже дороги. Только пятачок прошлогодней нечесаной травы и несколько метров каменной тропки.

Мурчание стало громче. Это был странный звук, не живой и не техногенный. Он повторялся раз за разом, не заканчиваясь и не начинаясь, словно закольцованная фраза на незнакомом языке. Это туман — вдруг понял он. Это звучит туман. Перила, в которые он вцепился, мелко, но ощутимо вибрировали.

Я хочу домой!

Он заставил себя открыть глаза. Обернулся.

Катичка стояла на террасе, замотавшись в одеяло.

Я хочу домой! Собирайся! — повторила она. Глаза у нее были белые, как туман, и совершенно ничего не видели. Он кивнул, словно все было нормально, и действительно пора собирать рюкзаки. Трусы-носки, мыльно-рыльные, полкило санкционки родителям, магнитики на работу, не забыть прихватить в дьюти-фри вина Ленке и Саше. Ленка любит красное, будет рассказывать анекдоты и сама же над ними смеяться. Саша после второго бокала подмигнет и, благословясь, попросит чего покрепче. Потому что, ты уж про-

сти, но этот ваш шмурдяк — ересь богомерзкая. А водочку и монахи приемлют. Надо пригласить их в ближайшую субботу, как вернемся. Купить на Дорогомиловском баранины хорошей. Тархунчика. Овощи на решетке запечь.

Катичка хлопнула дверью. Ушла.

Он постоял еще немного, впервые в жизни жалея, что не курит. И ведь не пробовал ни разу. Жалко. Сейчас было бы очень к месту. Хотелось вдохнуть поглубже, но было нечем, как будто туман забрал и воздух тоже. Было не светло, а просто бело, и только разноцветные Катичкины трусики рядком висели на проволоке, словно праздничные флажки. Красные трусики — красная прищепка. Белые — белая. Даже сейчас ей не было лень сделать красиво. Блин, а я-то носки забыл вчера постирать. Вот же болван. Наверно, чистых уже не осталось. Он машинально протянул руку, пощупал — трусики были сухие, почему-то немного хрусткие. Странно. Обычно зимой белье тут сохло по неделе. Особенно если туман. Все было волглое, тяжелое. Все было.

Он снял белье, похожее на шкурки бабочек (Катичка все носилась с этой книжкой, а он так и не прочитал), бросил прищепки в корзинку и тоже вернулся в дом.

Катичка лежала молча, накрывшись с головой. Он лег рядом, обнял ее прямо поверх одеяла, прижал к себе.

Я люблю тебя, слышишь?

Катичка не ответила.

Туман снаружи мурчал. Ровно, мерно, как будто дышал. Потолок был белый, и все за дверью на террасу тоже было белое, и только Катичкины трусики лежали на кресле, тревожные, яркие. Так и будут лежать тут еще долго-долго, а ни его, ни Катечки больше не будет. Он не додумал эту мысль до конца, не посмел. Уткнулся носом в Катичкину спину и стал повторять в такт туману: ялюблютебя, ялюблютебя, ялюблютебя, ялюблютебя, ялюблю…

Он проснулся мокрый, с разинутым черствым ртом. Катичка еще спала. Должно быть, она хотела скинуть одеяло, но не смогла, запуталась и лежала теперь, наполовину вылупившаяся из кокона. Лицо у нее было красное, потное. Чужое.

В одеяльной одури, — вспомнил он, но не вспомнил, откуда это. В одеяльной одури, в подушечной глуши. Он посмотрел на часы — половина двенадцатого. Дня? Ночи?

Комната была все такая же белая. Туман все так же мурчал.

Кать, позвал он, Кать, вставай, засоня!

Катичка шевельнулась, и от нее почти видимой волной пришел жар, сухой, плотный, страшный.

Ты заболела, что ли?!

Катичка, не открывая глаз, приподнялась, и ее вырвало.

Градусник он так и не нашел, только пенталгин, правда, просроченный, еще из позапрошлогодних запасов. Катичка болела очень редко, легко: пару дней была смешная, вялая, громыхала полупрозрачным розовым носом, и все проходило. Ну, мигрень еще иногда. Да, живот болел на второй день месячных сильно. Но она прекрасно сама с этим справлялась. А вот он любил свалиться недельки на две — с ознобом, с тридцать девять и две, с сухим выколачивающим кашлем и уродливыми температурными кошмарами, внутри которых распускался бесконечно один и тот же мясистый вьюнок, белый, циклопически огромный, и, когда тот наконец разворачивал лепестки до предела, внутри обнаруживалась кошмарная алая пасть, и он просыпался, подавившись собственным криком, и Катичка говорила шшшш, милый, шшшшш, и давала ему попить морса из разлохмаченной клюквы или воды с лимоном, реальной, прохладной и потому утешающе

вкусной. Он это все, конечно, любил, а не саму болезнь. Тревогу в Катичкиных глазах. То, как она щупала его лоб — сперва нежным предплечьем, потом такими же нежными губами. Свежие простыни. Куриный бульон со звездочками. Игрушку с дракончиками на планшете. Легальный сон до обеда, и после обеда еще часик — запросто. Чур-чур, я в домике.

Теперь главный в домике был он сам.

После первой таблетки Катичку снова стошнило, и он еще раз переменил постель и снова затер полы, тяжело шлепая поганой тряпкой по смуглой плитке и удивляясь, что ему вообще ни разу не противно. Может, потому что рвота ничем не пахла. Или он не чувствовал запаха? Может, у них снова ковид, как четыре года назад? Как они бесились тогда взаперти, как не верили ни в чох, ни во вздох, пока не заразились. Слава богу, легкая форма. А вот Катичкина мама умерла до того, как появилась вакцина. И все равно — старые, добрые, беззаботные времена. Сейчас он проснется и скажет Катичке — ты не поверишь, какой бред мне приснился. Он поскользнулся на мокрой плитке, опрокинул пластиковое ведро, чертыхнулся. Воды и так почти не осталось. Колодца в конце улицы, к которому они ходили

последние две недели, видимо, не было больше вообще. Он заставил себя не думать об этом — и действительно перестал. Обтер руки влажной салфеткой — их тоже почти не осталось. Дал Катичке вторую таблетку, и она, не открывая глаз, просвистела сухими губами — спасибо. Собрал мутную лужу. Вышел на террасу, отжал тряпку вниз, в туман, повесил на перила. Расправил. Подумал, расправил еще раз.

Пусть Катичка поправится, пусть поправится, пожалуйста! А еще, пожалуйста, пусть придет кот.

Говорить это в туман было неловко. Поэтому он закрыл глаза и сказал это внутри себя. Было очень тихо, даже туман замолчал, и только тяжело и часто капала с тряпки вода, ударяясь о невидимые листья плюща.

А потом в доме, внутри, закричала Катичка.

Кровь была везде, на постели, на стенах, на потолке, ненормально яркая, красная, живая, текла у Катички между пальцев, фонтаном выплескивалась изо рта, Катичка металась, и он никак не мог их остановить, ни Катичку, ни кровь, и все прыгало, пятнами, вспышками, и Катичка все кричала на одной ноте — аааааааааа! — пока он не догадался и не заткнул ей рот трусиками.

Красными. Чистыми. Сухими. И она наконец замолчала.

Он присел на край кровати, растерянно глядя на окровавленные пальцы. Он не знал, что делать. Вот Катичка всегда знала — кому позвонить, что купить, как сказать, даже если в результате получалась херня, она все равно знала, как поступить. Надо спросить у Катички, что делать с Катичкой. Он коротко засмеялся, и Катичка захрипела. Она мотала головой по подушке, и он перепугался, что она задыхается. Вытащил чертовы трусики, сунул куда-то.



Кровь, слава богу, больше не шла, только обме-

тала Катичкин рот ржавой темной коркой.

В Древнем Египте считали, что мышь…

Что?

В Древнем Египте считали, что мышь напрямую связана с вечной жизнью, и лекарь, пытаясь добавить жизненных сил ребенку, давал ему съесть мышку.

Она не говорила, а скрипела.

Что? Что такое?!

Увидеть мышь двенадцатого числа месяца тиби считалось большим несчастьем, те, кому не повезло, спешили отвратить взгляд в другую сторону. В некоторых рукописях египетской книги мертвых богиня с мышиной головой олицетворяет преисподнюю и смерть.

Веки у Катички были закрыты, но глазные яблоки под ними дергались, бегали, как будто она читала невидимую Википедию.

Птица ибис считалась священной. Она символизировала письмо и знание, а также врачевание и интеллект. Считалось, что Аполлон может превращаться в ибиса, чтобы лечить людей.

Змея во многих культурах считается символом смерти и возрождения.

Катичка вдруг засмеялась и сказала, не открывая глаз, своим обычным голосом — смотри,

какая картинка прикольная.

И тут же снова заскрипела — бог Ра в образе кота отсекает голову змею Апепу, рисунок из книги мертвых Хунефера, XIV век до нашей эры. Змея часто обладает целительной силой и символизирует освобождение от старых форм существования и принятие новых начинаний.

Мы получили мышь. Мы получили птицу. Он принес послание. Последняя будет змея.

Последняя будет змея.

Катичка глубоко вздохнула, глаза под веками перестали дергаться. Она спала. По-настоящему. По-человечески. Тихо. Глубоко.

Постель, Катичка, он сам — да все вокруг было в крови, умирающей, подсыхающей. Пахло железом, гранатовым соком, чем-то сладковатым. Где-то внизу, в тумане, коротко мяукнул кот. Он знал уже, что́ увидит, когда спустится. Но, когда взялся за ручку, неожиданно теплую, летнюю, вдруг испугался. А вдруг туман войдет, когда дверь откроется? Он видел с террасы, что это невозможно. Дом стоял слишком высоко. Пока слишком высоко. Ладно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще раз — но в обратном порядке.

Кот сидел на пороге, прижав лапой дергающу-

юся, извивающуюся змею. Змея время от времени судорожно, до предела, разевала пасть, как будто давилась. Так же делал цветок из его температурных кошмаров. Вьюнок. Голова змеи была похожа на вьюнок.

Кот мяукнул нежно, переливчато, просительно.

В дом с этой пакостью не пущу. И не проси.

Кот сделал короткое движение, почти незаметное — и змеиная голова отлетела в сторону, все еще продолжая распахивать челюсти.

Ну? Доволен? А мне теперь убирать. Где ты взял ее вообще, засранец?

Кот развернулся, проскользнул сквозь ограду и пошел налево, вниз, прямо в туман. У самой кромки остановился. Оглянулся, словно ждал. Глаза у него были оранжевые, круглые, совиные.

Нет, сказал он. Ну уж нет! Это хренушки тебе, не дождешься.

Кот исчез.

Он вытер лоб — оказалось, Катиными трусиками. Теми самыми. Красными. Считается, что кровь на красном не видна. Абсолютная хрень. Кровь невозможно спрятать. Он пошел в котельную, аккуратно положил трусики в мертвую стиральную машину. Подумал. Взял пластмас-

совое ведро радостного цыплячьего цвета. Воды хоть принесу. Может, с колодцем и не случилось ничего. Может, вообще ничего не случилось.

Он так устал, что даже не зажмурился. Просто шагнул, в самый последний момент инстинктивно выставив руки. Ведро дернулось, качнулось, будто боялось вместо него.

Внутри тумана было тихо и не видно ни пса, как в самом обыкновенном тумане. Только он был не влажный, а сухой. Как если бы распылили в воздухе тонко молотую белую пудру. Или школьный мел. Дышать это немного мешало — и все. Больше ничего не произошло. Он постоял немного, ошеломленный. Под ногами — дорога, та самая, их дорога. Справа и слева темнел неясный, словно наполовину проявившийся лес. Кот, сперва тоже неясный, подбежал, тряся боками, потерся, воплотился окончательно. Мяукнул, снова побежал вперед. Остановился. Оглянулся. Звал за собой.

Он покрепче сжал свое желтое ведро и пошел вслед за котом. Просто лес. Просто дорога. Просто туман. Самый обычный. Он вдруг почувствовал, что злится. Да какого хрена! Какого хрена! Это что — реалити-шоу, что ли, такое? Гипноз? Я вас тогда, суки подлые, по миру пущу, всю жизнь,

блин, будете иски от меня получать, по два в день, пока не сдохнете! Он запел, размахивая в такт ведром, — в полный голос, ужасно фальшивя и впервые совершенно этого не стесняясь.

Мы в город изумрудный! Идем! Дорогой! Трудной!

Ужас трех последних месяцев выходил из него с этим криком, почти визгом — словно из раненого воздушного шарика.

Идем! Дорогой! Трудной! Дорогой! Непрямой!

И еще громче! И еще!

Он закашлялся, еле перевел дух и понял, что осип.

Туман молча стоял вокруг.

Сейчас принесу воды, и смотаюсь вниз, за врачом. Туда горючки точно хватит. А там заправлюсь. В супермаркет еще надо. Позвонить родителям. И посмотреть, что там с билетами в Москву. Блин, да нас обоих уволили давно, наверно! Ладно, лишь бы с Катичкой ничего страшного. Сосудик просто лопнул, должно быть.

Стоп, а где колодец-то? Вроде ближе был существенно.

Грунтовка повернула, он повернул вместе с ней и едва не споткнулся о кота. Кот сидел, подняв

голову, и смотрел куда-то серьезно, даже устало. Как человек, ждущий своего автобуса на пустой остановке.

Ты чего?

Кот ничего не сказал. Только смотрел и смотрел, и тогда он тоже наконец увидел. Прямо перед ним — метрах в двух — в тумане стоял человек. Спиной. Самый обычный человек, в длинной белой рубахе. Вроде ночной. Ему из-за этого показалось, что женщина. Ну точно — женщина. Волосы длинные, чуть-чуть вьющиеся, до лопаток. Мокрые, что ли? Руки у женщины были раскинуты крестом, и она слегка поворачивала корпус то туда, то сюда. Не похоже, что местная. Физкультурой, что ли, занимается.

Женщина! — сказал он по-русски. И, спохватившись, перешел на английский, не очень ловкий, но обычно хватало. Простите, женщина! Будьте добры, тут где-то колодец был. Для воды.

Женщина все поворачивалась легонько, распахнув руки — туда, сюда, туда, сюда, ее было не очень хорошо видно, в белом-то, но туман вдруг колыхнулся — и он коротко, страшно вскрикнул, словно кто-то ударил его с размаху в незащищенный живот.

Это была не женщина. Мужчина. Из-под белой

рубашки видны были крепкие волосатые икры, крупные грязные ступни висели, не касаясь земли. Весь мужчина висел, распахнув руки и покачиваясь, на чем-то невидимом. Руки тоже были мужские, сильные, мосластые. Пальцы царапали воздух, словно пытаясь что-то схватить. Он был не спиной, нет. Просто уронил голову на грудь. Волосы действительно были мокрые, и с них беззвучно капало на дорогу что-то медленное, темное.

Вы… Что… Что здесь происходит?

Кот повернул голову и посмотрел на него. Глаза у него были не рыжие. Вообще никаких. Две красные запекшиеся дыры.

Он снова вскрикнул.

И в этот момент мужчина начал медленно, с усилием поднимать голову.

Он не помнил, как добежал до дома, вообще не помнил, что бежал, сразу оказался в спальне, тяжеленный комод стоял вплотную к двери, а он все толкал его и толкал — руками, коленями, даже животом. Кто-то дотронулся до него сзади, мягко, нежно, и он забился, как юродивый, боясь обернуться, замолотил в воздухе, пытаясь закричать, а Катичкин голос все повторял нежно и тревожно — милый, милый, милый, ты что? И все громче

— так же нежно и тревожно — мурчал кот.

Он открыл глаза, сел. Может, наоборот.

Кота не было. В комнате стоял странный, белесый, шевелящийся свет. На циферблате будильника — шесть утра. Катичка лежала, замотавшись в одеяло, дышала тихо, медленно, мерно. Он осторожно пощупал ее лоб — прохладный, немного влажный. Пахло пóтом, духами, глубоководным спокойным сном. Не было ни крови, ни тряпок, ни трусиков в кресле.

Мрррррр-мрррррр-мрррррр-мрррррр…

Он встал, поискал джинсы, не нашел, вышел на террасу так. Дежавю. Какое мерзкое слово. Я сплю. Я не сплю. Я сплю. Туман был на том же месте. Катины трусики висели радостным разноцветным рядком. Сухие, да. Абсолютно сухие. Даже хрустят. Он собрал их, бросил прищепки в корзинку. Посмотрел вниз — слава богу, кота не было. Ни кота, ни змеи. Надеюсь, у него все в порядке с глазами. Надеюсь, сегодня мы наконец умрем. Невыносимо больше ждать. Совершенно невыносимо.

Но что-то было все равно не так. Не так, как в прошлый раз. Непонятно, что именно. Это раздражало, как попавшая в глаз ресница. Он потер глаза. Нет, не помогло.

Ладно. Надо пойти, обнять Катичку и заснуть. Желательно до обеда. Туман сомкнется раньше, часов в одиннадцать утра. Они проснутся уже на том свете. Там мама, папа, бабушка. Все-все-все. Или наоборот — ничего. Только банька с пауками. И лопух. Как в школе говорили. В школе, небось, плохому не научат. Ну и пусть лопух. Все равно. Обнять Катичку и заснуть. Отличный план.

Он зевнул, чуть не вывихнув челюсть. Вытер слезящиеся глаза. И вдруг увидел — там, слева, в тумане, был свет. На том самом месте, куда они так и не дошли. Тихий, ровный, медный свет, запудренный туманом, но все равно — очевидный. Он прищурился, не веря. Да, точно, свет. И прекрасно. И очень хорошо. Свет — значит, свет. Фонарь, наверно, стоит здоровенный. Или зеркало большое. Неизвестно зачем. В следующий раз дойдем и узнаем обязательно.

В этот момент туман замолчал. По нему прошла рябь — нет, даже волна, словно по спине кота, если почесать ему репицу. Раздался звук — длинный, тяжелый, будто где-то ударили в огромный гонг. И туман одним рывком поднялся — весь сразу — и прыгнул.

* * *

Он стоял на дороге, сжимая в руке желтое пластмассовое ведро. На том же самом месте. Внутри тумана. Только никакого висящего человека, слава богу, не было. Очень хотелось спать. И еще почему-то плакать. Почему это все? За что? Он вспомнил бесконечные споры с Катичкой в первые дни. Она считала, что туман — это уничтожение вида *Sapiens*. Биологическая катастрофа планетарного масштаба. Нас стало слишком много, планета просто встряхивается. Как дворняга, на которой слишком много блох. Во-первых, не так уж нас и много, если сравнивать с насекомыми. А, во-вторых, остальные виды тут при чем? Ни одна муха из тумана пока назад не вылетала. С остальными видами ничего плохого не случится. Это тебе эсэмэс прислали? Персонально? От ноосферы Земли?

Потом еще была интересная теория о том, что человечество стало нарушать некие механизмы бытия. Глобальное потепление, озоновый слой. Боже, ну какие механизмы, Катя, я тебя умоляю, не говори со мной про механизмы, ладно, я все-таки инженер. Озоновый слой и потепление твое — это просто модная повестка. Мы стали

составлять богу конкуренцию, понимаешь? Он не понимал, нет. Одно время он предполагал, что это цивилизационное — очередные темные времена, но для наступления возрождения требовались хоть какие-то живые носители. Туман этого явно не предполагал.

Что же тогда? А хз.

Смысла в конце света просто не было. Ни малейшего.

Ну что ж, тогда просто пойдем и посмотрим, что там за свет. В самом конце.

Он перехватил ведро и пошел по дороге, не сожалея, не злясь, самым обычным прогулочным шагом. В тумане справа и слева что-то вздыхало, перемещалось — беззвучно, медленно, словно он шел под водой. Мелькнуло что-то высокое, он посторонился, и из тумана на длинной пятнистой шее выплыла морда, пятнистая, узкая, со смешными мягкими рожками. Как у улитки. Шевельнула ушами. Выпустила из ноздрей теплый, сдобный воздух. Жираф, господи боже мой! Жираф! Он засмеялся, хотел погладить, но жираф исчез. Зато появился кот — рыжеглазый, горячий, черный, потрусил рядом, приноравливаясь к неуклюжему человеческому шагу. Он на ходу наклонился, почесал кота между ушей. Зараза

ты, зараза! Как там тебя Катичка назвала? Кот Блед? Бледина ты и есть. Шлялся неизвестно где. Всех напугал.

Когда дорогу мелко перебежал похожий на здоровенный репейник дикобраз, он даже не удивился. Звери шли в ту же сторону, что и он, параллельно, и он рад был, что это так и что их не видно, только слышно. Туман теперь не мурчал, он был полон вздохов, шелестения, тихо похрустывали ветки, шуршали перья, шкуры, чешуя. Над головой мелькнула тень, он задрал голову — рыбы. Ну, разумеется. Куда же без них.

За очередным поворотом его догнала Катичка. Взяла за руку. На секунду потерлась виском о плечо, несколько раз подпрыгнула, как маленькая, чтобы вышло в ногу. Получилось. Он стиснул ее пальцы изо всех сил. Теплые. Сухие. Кот теперь бежал у другой ноги, и он с размаху забросил в туман желтое ведро, чтоб коту было удобнее. Катичка засмеялась, и он тоже засмеялся.

Дорога ощутимо забирала вверх, а они всё шли и шли, и он чувствовал, что сзади тоже идут, и надеялся, что это люди. Свет впереди приближался, изгибаясь вместе с дорогой, это было чудно, и он не понимал, почему так, а потом кот вдруг побежал вперед и резко остановился, будто впе-

реди было невидимое препятствие. Он отпустил Катичкину руку. Погоди. Я сам посмотрю.

Кот сидел перед прозрачной стеной. Он задрал голову — стена, нет, не стена, плева, заворачивалась вверху, образуя сферу. Они были внутри нее — и он, и Катичка, и дом, и жираф, дикобраз, и кот. Никакого тумана больше не было. И никакого конца света тоже — только сам свет. Свет был вокруг и внутри, и вне его ничего не было.

Господь. Свет мой. И спасение мое. Кого мне бояться.

Он стоял, улыбаясь, и смотрел на свет. Все они смотрели. Щеки были мокрые от слез, он сперва вытирал их, а потом перестал. И тогда Господь тихо-тихо потряс крошечный прозрачный шарик — и пошел снег.

Снег шел снаружи, налипал на прозрачную оболочку, таял, собираясь каплями, стекал. Человечек внутри шара, маленький, рыжеватый, некрасивый, вдруг замахал руками, запрыгал и радостно завопил что-то едва слышное.

Господь прислушался.

С Рождеством! — кричал человечек. С Рождеством!

Женщина рядом с ним тоже прыгала и кричала. И звери, и птицы, и рыбы, и скоты, и пресмыкаю-

щиеся, и гады, — все пели осанну.

Ребенка мне разбудят, а. Вот же полоумные.

Господь встряхнул шарик в последний раз.

И все исчезло.

Об авторах

Павел Басинский

Писатель, литературовед, литературный критик. Автор книг «Лев Толстой: бегство из рая», «Подлинная история Анны Карениной», «Горький: Страсти по Максиму» и других. Лауреат премии «Большая книга» и Премии Правительства РФ в области культуры.

Евгений Водолазкин

Прозаик, филолог. Автор романов «Соловьёв и Ларионов», «Лавр», «Авиатор», «Чагин» и других. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и Литературной премии Александра Солженицына.

Алла Горбунова

Поэт, прозаик. Автор книг «Вещи и ущи», «Конец света, моя любовь», «Другая материя», «Лето», «Ваша жестянка сломалась». Лауреат премий «НОС», «Дебют» и Премии Андрея Белого.

Денис Драгунский

Прозаик, журналист, автор 25 книг прозы, среди них «Обманщики», «Смелая женщина до сорока

лет», «Автопортрет неизвестного», и автобиографического романа «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва». Финалист премии «Большая книга».

Шамиль Идиатуллин

Писатель, журналист. Автор романов «Город Брежнев», «Бывшая Ленина», «До февраля», «Бояться поздно» и других. Лауреат премии «Большая книга».

Елена Колина

Прозаик, автор более двадцати книг, среди них «Умница, красавица», «Сага о бедных Гольдманах», «Дневник новой русской», «Мальчики да девочки». Многие романы экранизированы. Елену Колину считают основателем жанра «романтическая комедия» и называют «лучшим психологом среди писателей».

Майя Кучерская

Писатель, академический руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» (ВШЭ), художественный руководитель литературных мастерских *«Creative Writing School».* Лауреат премии «Большая книга». Автор книг «Современный патерик», «Тетя Мотя», «Плач по уехавшей учительнице рисования» и других.

Анна Матвеева

Прозаик, редактор. Автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной», сборников «Спрятанные реки», «Лолотта и другие парижские истории», «Армастан. Я тебя тоже», документальной дилогии «Картинные девушки» и других книг. Финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

Саша Николаенко

Прозаик, художник. Автор романов «Убить Бобрыкина», «Муравьиный бог: реквием», «Небесный почтальон Федя Булкин». Лауреат премий «Ясная Поляна» и «Русский Букер».

Валерий Попов

Прозаик, мемуарист, автор книг «Жизнь удалась», «Чернильный ангел», «Комар живет пока поет», «Плясать до смерти», «Довлатов» (в серии «ЖЗЛ»). Финалист премии «Большая книга».

Алексей Сальников

Прозаик, поэт. Автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел», «Опосредованно», «Оккульттрегер», «Когната». Лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Григорий Служитель

Прозаик, театральный актер, певец. Автор романа «Дни Савелия». Лауреат премии «Большая книга».

Вениамин Смехов

Актер театра, кино, телевидения, режиссер и сценарист. Автор книги «Жизнь в гостях» и многих других. Лауреат художественной премии «Петрополь», Царскосельской художественной премии и премии «Книжный червь».

Марина Степнова

Прозаик, сценарист, преподаватель писательского мастерства (ВШЭ, *«Creative Writing School»*). Автор романов «Сад», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Хирург». Лауреат премии «Большая книга».

Татьяна Толстая

Прозаик, эссеист. Автор романа «Кысь», книг «Невидимая дева», «Лёгкие миры», «Девушка в цвету», «Войлочный век». Лауреат премии «Тэфи» за передачу «Школа злословия».

Александр Цыпкин

Писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям, основатель литературно-

театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Автор книг «Женщины непреклонного возраста», «Дом до свиданий и новые беспринцыпные истории», «Девочка, которая всегда смеялась последней» и других.